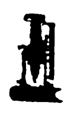
Михаил Пришвин

Охота за счастьем







Михаил Пришвин

ОХОТА ЗА СЧАСТЬЕМ

Вступительная статья
М. ГОРЬКОГО

Московское товарищество
писателей
1933

Редактор М. Кац *Техн. ред. М. Чуванов*

Художник Д. Даран

Интернациональная 39 тип., ул. Скворцова-Степанова, 3. З. т. № 468. Сдано в набор 15.3.33 г. Подп. к печати 19.7.33 г. Статформат Б-6, 125×176 Печ. л. 10^{1}, Мособлит № 33106. Тир. 5200 экз.

1933 *МТП № 336/71*

М. Горький

Писать о вас, Михаил Михайлович, не легко, потому что надобно писать так же мастерски, как пишете вы, а это, я знаю, не удастся мне.

И есть какая-то неловкость в том, что М. Горький пишет нечто в роде пояснительной статьи к сочинениям М. Пришвина, оригинальнейшего художника, который почти уже двадцать пять лет отлично работает в русской литературе. Как будто я подозреваю читателей в невежестве, в неумении понимать.

Неловко мне писать еще и потому, что хотя работать я начал раньше вас, но, внимательный читатель, я многому учился по вашим книгам. Не думайте, что я сказал это из любезности или из «ложной скромности». Нет, это правда,— учился. Учусь и по сей день и не только у вас, законченного мастера, но даже у литераторов моложе меня лет на тридцать пять, у тех, которые только что начали работать, чьи дарования еще не в ладах с уменьем, но голоса звучат поновому — сильно и свежо.

Учусь же я не только потому, что «учиться никогда не поздно», но и потому, что человеку учиться естественно и приятно. А, прежде всего, конечно, потому, что художник может научиться мастерству только у художника.

Учиться я начал у вас, Михаил Михайлович, со времен «Черного араба», «Колобка», «Края напуганных птиц» и т. д. Вы привлекли меня к себе целомудрен-

ным и чистейшим русским языком ваших книг и совершенным уменьем придавать гибкими сочетаниями простых слов почти физическую ощутимость всему, что вы изображаете. Немногие наши писатели обладают этим уменьем в такой полноте и силе, как вы.

Но, вчитываясь в книги ваши, я нашел в них еще одно, более значительное достоинство и уже исключительно ваше; ни у кого другого из русских художников я его не вижу.

Писать пейзаж словами у нас многие очаровательно умели и умеют.

Стоит вспомнить И. С. Тургенева, Аксаковские «Записки ружейного охотника», превосходные картины Льва Толстого. А. П. Чехов «Степь» свою точно цветным бисером вышил. Сергеев-Ценский, изображая пейзаж Крыма, как будто Шопена на свирели играет. Есть и еще много искусного, трогательного и даже мощного в изображении пейзажа нашими мастерами слова.

Я очень долго восхищался лирическими песнопениями природе, но с годами эти гимны стали возбуждать у меня чувство недоумения и даже протеста. Стало казаться, что в обаятельном языке, которым говорят о «красоте природы», скрыта бессознательная попытка заговорить зубы страшному и глупому зверю, Левиафану-рыбе, которая бессмысленно мечет неисчислимые массы живых икринок и так же бессмысленно пожирает их. Есть тут что-то похожее на унижение человеком самого себя пред лицом некоторых загадок, еще не разрешенных им. Есть нечто первобытное и «атавистическое» в преклонении человека пред красотой природы, красотой, которую он сам, силою воображения своего, внес и вносит в нее.

Ведь нет красоты в пустыне, красота—в душе араба. И в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты,—это финн ее вообразил и наделил ею суровую страну свою.

Кто-то сказал: «Левитан открыл в русском пейзаже красоту, которой до него никто не видел». И никто не мог видеть, потому что красоты этой не было, и Левитан не «открыл» ее, а внес от себя, как свой человеческий дар земле. Раньше его землю щедро одаряли красотою Рюйсдаль, Клод Лоррен и еще десятки великих мастеров кисти. Великолепно украшали ее и ученые, такие, как Гумбольдт, автор «Космоса». Материалисту Геккелю угодно было найти «красоту форм» в безобразнейшем сплетении морских водорослей и в медузах, он нашел и почти убедил нас: да, красиво! А древние эллины, тончайшие знатоки красоты, находили, что медуза отвратительна до ужаса. Человек научился говорить прекрасными, певучими словами о диком реве и вое зимних мятелей, о стихийной пляске губительных волн моря, о землетрясениях, ураганах. Человеку и слава за это, пред ним и восторг, ибо это сила его воли, его воображения неутомимо претворяет бесплодный кусок космоса в обиталище свое, устраивая землю все более удобно для себя и стремясь вовлечь в разум свой все тайные силы ее.

Так вот, Михаил Михайлович, в ваших книгах я не вижу человека коленопреклоненным пред природой. Да на мой взгляд, и не о природе пишете вы, а о большем, чем она, — о земле, великой матери нашей. Ни у одного из русских писателей я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у вас.

Отлично знаете вы леса и болота, рыбу и птицу, травы и зверей, собак и насекомых, — удивительно богат и широк мир, познанный вами. И еще удивительней обилие простейших и светлых слов, в которые вы воплощаете любовь вашу к земле и ко всему живому ее, ко всей «биосфере». В «Башмаках» вы говорите: «ничего нет трудней, как говорить о хорошем», я думаю, что это лишь потому, что—как там же,

в «Башмаках», сказано вами, — «хочется довести силу слова до очевидности физической силы».

Читая «Родники Берендея», я вижу вас каким-то лепообразным отроком» и женихом, а ваши слова о «тайнах земли» звучат для меня словами будущего человека, полновластного владыки и мужа земли, творца чудес и радостей ее. Вот это и есть то, совершенно оригинальное, что я нахожу у вас и что мне кажется и новым и бесконечно важным.

Обычно люди говорят земле:

— Мы — твои.

Вы говорите ей:

— Ты — моя!

А это так и есть: земля более наша, чем привыкли мы о ней думать. Замечательный русский ученый Вернадский талантливо и твердо устанавливает новую гипотезу, доказывая, что плодородная почва на каменной и металлической планете нашей создана из элементов органических, из живого вещества. Это вещество, на протяжении неисчислимого времени, разъедало и разрушало твердую, бесплодную поверхность планеты, вот так же, как до сего дня лишаи «камнеломки» и некоторые другие растения разрушают горные породы. Растения и бактерии не только разрыхлили твердую кору земли, но ими создана и атмосфера, в которой мы живем, которой дышим. Кислород — продукт жизнедеятельности растений. Плодородная почва, из которой мы добываем хлеб, образована неисчислимым количеством плоти насекомых, птиц, животных, листвою деревьев и лепестками цветов. Миллиарды людей удобрили землю своей плотью; поистине, это — наша земля.

И вот это ощущение земли, как своей плоти, удивительно внятно звучит для меня в книгах ваших, муж и сын великой матери.

Я договорился до кровосмешения? Но ведь это

так: рожденный землею человек оплодотворяет ее своим трудом и обогащает красотою воображения своего.

Вселенная? Благоустройством вселенной искусно и усердно занимаются космологи, астрономы, астрофизики. Уму и сердцу художника ближе и важнее благоустройство его земли. Косметические катастрофы не так значительны, как социальные. Оттого, что где-то в недрах млечного пути угаснет чужое нам солнце, наше небо не станет беднее и темней. Солнце вспыхнет снова, но, вот, уже прошло девяносто лет, а новый Пушкин не родился.

Тайны космоса не столь интересны и важны, как изумительная загадка: каким чудом неорганическое вещество превращается в живое, а живое, развившись до человека, даст нам Ломоносовых и Пушкиных, Менделеевых и Толстых, Пастра, Маркони и сотни великих мыслителей, поэтов-работников по созданию второй природы, творимой нашей человеческой мыслью, нашей волею?

По вашим книгам, Михаил Михайлович, очень хорошо видишь, что вы человеку — друг. Не о многих художниках можно сказать это так легко и без оговорок, как говоришь о вас. Ваше чувство дружбы к человеку так логически просто исходит из вашей любви к земле, из «геофилии» вашей, из «геооптимизма». Иногда кажется, что вы стоите на какую-то одну ступень выше человека, но это отнюдь не унижает его. Это вполне оправдано вашей сердечной зоркой дружбой к нему, каков бы он ни был: злой по нужде или добрый по слабости, мучитель из ненависти к мукам или жертва из привычки потворствовать фактам. Ваш человек очень земной и в хорошем ладу с землею. У вас он более «гео и биологичен», чем у других изобразителей его, он у вас — наизаконнейший сын великой матери и подлинная живая частица «священ-

ного тела человечества». Вы как-то особенно глубоко и всегда помните, насколько мучителен и чудесен был путь его от эпохи кремневого топора до аэроплана.

А главное, что восхищает меня, это то, что вы умеете измерять и ценить человека не по дурному, а по хорошему в нем. Эта простая мудрость усваивается людьми с трудом, да и усваивается ли? Мы не хотим помнить, что хорошее в человеке — самое удивительное из всех чудес, созданных и создаваемых им. Ведь в сущности-то у человека нет никаких оснований быть «хорошим», доброе человеческое не поощряется в нем ни «законами природы», ни условиями социального бытия. И все-таки мы с вами знаем не мало воистину хороших людей. Что делает их такими? Только — желание. Иных мотивов я не вижу: человек хочет быть лучше, чем он есть, и это ему удается. Что на земле нашей более великолепно и удивительно, чем это сложнейшее существо, хотя исполненное противоречия, но воспитавшее в себе страшную силу воображения и дьявольскую способность всесторонне осмеивать себя самого?

Любоваться человеком, думать о нем я учился у многих, и мне кажется, что знакомство с вами, художником, тоже научило меня думать о человеке — не умею сказать, как именно, но — лучше, чем я думал.

И особенно русский человек после того, что пережито, и притом, что переживается им, заслуживает какого-то иного, более повышенного отношения к нему, более внимательного и почтительного. Разумеется, я очень хорошо вижу, что он все еще не ангел, но — мне и не хочется, чтоб он был ангелом, я хотел бы только видеть его работником, влюбленным в свою работу и понимающим ее огромное значение.

Для всех нас, встающих на ноги к творчеству новой жизни, глубоко важно, чтоб мы почувствовали себя очень родными и близкими друг другу. Этого требует

суровое время, в которое мы живем, и грандиозная работа, за которую мы взялись.

«Еже писах — писах .

Вероятно — в чем-то ошибся и что-то преувеличил. Но, может быть, я и ошибся и преувеличил, зная, что делаю, ибо, как известно, я человек умствующий, и, в некотором отношении, заносчивый. Я думаю, что ошибаться в ту сторону, куда ошибаюсь я — не вредно, ибо я делаю это не потому, что намерен утешить себя или ближайших «возвышающим обманом», а по предчувствию, что ошибаюсь в сторону той правды, которая неизбежно осуществится, которая одна только и необходима людям, которой они и должны воодушевить самих себя, мужей земли.

Н. И. Замошкин

ПИСАТЕЛЬ-БЕРЕНДЕЙ

Подлинный художник слова во всем своем неповторимом своеобразии раскрывается не сразу. В его жизни наступает такой момент, когда читателя охватывает радостное удивление, переходящее в восторг. Миг этот для М. Пришвина был ознаменован рождением в нем Берендея. Берендей — это творческая зрелость, это — свое слово, открытие, мудрое узнавание жизни, ее законов, смысла и оправдания.

Прежде чем сделаться Берендеем, М. Пришвин прошел известный путь отыскания самого себя в сложной системе общественных отношений. Исключительное значение мира естественных явлений и народной жизни помогло М. Пришвину преодолеть пессимизм, повстречавшийся ему в первые годы художественной деятельности — в эпоху политической реакции после 1905 года. После настойчивых исканий писатель нашел место для человека на земле, нащупал совершенно реальную, не математическую, ось жизни. Он глядит в глаза читателя бодрым взглядом опытного охотника за счастьем. Едва заметная, почти фавновская, усмешка придает его последним произведениям особую прелесть новизны и оригинальности. М. Пришвин сейчас находится в расцвете своих сил и художественных достижений. Позади же сегодняшнего дня, уходя в значительную даль, высятся вехи его постепенного роста, самоопределения. Вполне сохраняя свое самостоятельное художественное значение,

эти вехи бросают тени и на его «сегодня». Проследить путь от Курымушки — его душевной и общественной неустойчивости—до Берендея—значит связать звенья творческой цепи и отметить в писателе все то, что отличает в нем художника с «лица не общим выражением».

Есть у писателя произведение, которое содержит в себе всего М. Пришвина, всю гамму его противоречий и все силы, раскрывшиеся в его творчестве. Речь идет о романе «Кащеева цепь». Еще ребенком Пришвин-Курымушка поклялся разбить цепь человеческой разобщенности и непонимания. В поэтическом представлении М. Пришвина кащеева цепь принимала разные формы: в детстве она реализовалась в страшные суеверные образы, в юности же она обернулась в совершенно конкретный образ «оков капиталистического мира». Основная идея романа и заключается в преодолении человеком всяческих пут и цепей, сковывающих его волю и свободное развитие. Эпический автобиографизм этого произведения помогает раскрыть узловое значение романа для всей художественной деятельности М. Пришвина. Все, написанное им раньше, обусловлено именно «Кащеевой цепью». Конечно, эта обусловленность не хронологическая, а внутренне-синтетическая, которая одна только и может способствовать уразумению объективного смысла художественного пути писателя.

На зыбкой почве вырос Курымушка-мальчик. Пестрота социальных прослоек (купцы-землевладельцы, сохранившие «патриархальные» отношения с «мужичками») и влияний (атеисты, старцы, пафос раннего капиталистического строительства, революционные веяния, магия всеобщей «рациональности», передоновщина [1] в школе, вопли безземельных кре-

[1] Передонов — герой романа Ф. Сологуба „Мелкий бес", тупой и бездарный педагог, имя коего стало нарицательным.

стьян, их глухие угрозы и их почти первобытный материализм, легенды о «забытой стране» Азии и т. д.) не могла сделать из него цельного человека. С одной стороны сказывалась реалистическая закваска купеческого отпрыска — успех позитивного лозунга «верь в науку», а с другой, — одолевала мальчика и доморощенная мистика, и тревога за землю, которая «все равно отойдет к мужикам». Начались искания. Замаячили вдали неведомые и невидимые страны, а образ Марьи Моревны звал к красоте, нежности и подвигам. Почти одновременно с этим росла вера в «школу пролетарских вождей». Надо было сбросить с себя цепи, победить в себе заказ и загад, оставшийся от детства. Став писателем, М. Пришвин превратился в следопыта, экспериментатора жизни. В «краю непуганных птиц», в забытой Азии, в Ледовитом океане, наконец, в черноземьи он начал искать Пана-властителя природы и мужика-хозяина земли. Повстречались ему народы и страны, труд и борьба, родные края. В этой обстановке, на этих путях-дорогах началось в нем рождение Берендея.

В романе «Кащеева цепь» содержится богатейшая тематическая программа почти всех других произведений М. Пришвина. С поразительной (едва ли встречающейся в творчестве других писателей) последовательностью писатель выполнил то, что дано было ему еще в молодости. Этот факт интересен особенно с точки зрения психологии творчества, как яркий показатель постоянства художников слова в выполнении своих жизненных задач. Инфантильность, как длительное переживание детства, играет огромную организующую роль в художественном творчестве. Но она не довлеет над писателем, а преодолевается им под воздействием социальной среды и эпохи. Творчество М. Пришвина в этом отношении чрезвычайно показательно. В литературном плане переход

от Курымушки к Берендею приблизительно выглядит так.

«Крутоярский зверь»—легенда о последнем барине. Окруженный призраками, умер этот барин от некоего многоголового зверя в образе собачьей своры. Тема о гибели дворянства, таким образом, обросла мохом «первого смысла» (Курымушка обладал истинно-творческой способностью понимать ходячую фразу в своем первом смысле», но, обладая этим преимуществом, мальчик часто строил из «смысла» всяческие «тайны»). Первая половина рассказа, написанная душистым, сочным, настоенным на травах языком, бодрит, хватает за живое; вторая же насыщена мифологизмом и разными деталями страшного свойства. В этом двойном зрении проявилась пестрота авторских симпатий, его, обусловленная воспитанием, неустойчивость. Писатель как бы вспомнил детские страхи и невольно отдал им дань. Приблизительно в этом же духе написан и рассказ «Птичье кладбище».

Кристальной свежестью и подлинной поэзией отличается книга «Колобок». В поисках единого всеисчерпывающего символа М. Пришвин пришел в страну полуночного солнца. Китежские настроения, вкус к которым он получил еще в детстве, вначале взяли верх — обитатели севера показались ему живой сказкой, поэтическим материалом. С середины же пути оказалось, что богомольцы Соловков бегут на север, гонимые нуждой, и что Кащей вовсе не сказочный персонаж, а совершенно реальное лицо— местный богач! «Безымянная» страна получила свое имя — страны борьбы за существование. Вначале в книге преобладает восторженность в языке — «светлая, безгрешная ночь» — и отступления философского характера, потом красочные, жесткие, простые диалоги, пейзажи и образы начинают заполнять стра-

ницы. Здесь еще более заметен отход писателя от стихийности и вселенства, как основы основ жизни. Легкость и изящная непринужденность в развитии действия в «Колобке» обязаны мастерскому использованию автором в качестве темы подвижного предмета — колобка, все убегающего вперед и вперед.

«Черный араб» — книга путешествия по желто-солнечной Киргизии, по неведомой стране. Писатель, вступая в этот загадочный уголок мира, набрасывает на себя плащ — называет себя арабом из Мекки. «Еду и сею миражи», — гордо заявляет путешественник. Но при первом же соприкосновении с «экзотикой» миражи рассеиваются, а эффект от переодевания пропадает: оказывается, что и здесь все наполнено обыкновенными человеческими страстями, и что волки поедают овец... Портрет могущественного феодала и фигуры падающих ниц людей изображены в этом очерке без всякой идиллизации — необходимой спутницы «восточных» рассказов. Легендарность здесь вполне житейская, полынная.

В «Исследованиях журналиста» М. Пришвин становится в одну линию с действительностью. Он приступает вплотную к разгадке тайны об «Адаме безземельном». Писатель зорко подметил веру крестьян в революцию: «Придет настоящий оратор, самый верный», который освободит «Адама» от безземелья. И действительно, история вскоре выдвинула «самого верного» человека — В. И. Ленина. В родных краях М. Пришвин услышал зов земли. Иногда, правда, чувствуется в этих его очерках какая-то разочарованность и холодок, да и чернозем у него играет разными цветами, но все же логика деревенских событий оказалась сильнее его личной логики. В революционные же годы М. Пришвин делает первый шаг к «оработчиванию» своих тем. Появляются «Башмаки» — ряд художественно-исследовательских миниатюр из жизни

ремесленников-башмачников. Он проникается «родственным вниманием к трудовому человеку», он хочет победы «социального башмака» над кустарем-одиночкой. В этой маленькой книжке секрет пришвинского яркого живописания делается понятным: художник искусно сочетает исследовательский метод с эстетическим. Получается непревзойденный по своей красоте и убедительности жанр. С заоблачных высот, которые иногда чувствовались в ранних его произведениях, писатель спускается на землю и вникает в самые будничные явления жизни. «Опрощение» писателя не только не убило в нем таланта, но придало ему новые красочные оттенки: юмор, еще большую языковую выразительность. В этом культе «малых дел» почти совсем исчезают страхи и смысл «единственного понимания». Заметим кстати, что очерки М. Пришвина незаметным образом переходят иногда в новеллы. Примером этого может служить рассказ «Дрова». Когда художник-журналист пишет под диктовку природы, прислушивается и начинает осязать свою близость с природой и людьми — хозяевами ее, тогда он делается художником-краеведом. М. Пришвин и на этом пути прошел ряд этапов: от ранней книги, наполненной пантеистическими настроениями («В краю непуганных птиц»), к абсолютно трезвой, можно сказать, биологической откровенной книге — «Родники Берендея». Конкретное содержание Берендеевой книги сводится к изображению «лица края». Незаметные, но подчас героические факты трудовой жизни (рыбный промысел и пр.) ставятся им в связь не только с дореволюционным бытом, но и временами года. Получается единая система жизненных, художественно воспроизведенных, явлений. Обрядово-языческая радость Ярилы, чудачества отставного попа, гимн корове о мужичьем хозяйстве, энтузиазм комсомольцев-робинзонов, весна света и воды, вещие голоса птиц, хитрость рыб и про-

чее и прочее — вот объект пришвинского любвеобильного чувства жизни. Чутье к человеку, к каждому лицу (М. Пришвина «средние типы не интересуют») восходит к временам Миши Алпатова (Курымушка в юности), когда он слышал от матери, что мужика «вообще», как безличного собирательного типа, не существует, а есть особые характеры и темпераменты, принадлежащие разным людям. В «Родинах Берендея» Курымушка только в редкие минуты напоминает о себе. М. Пришвина можно считать талантливейшим писателем в области эстетически-краеведческого изображения жизни.

Миша Алпатов из «Кащеевой цепи», потревоженный семейной, школьной и общественной неурядицей, пытается сделать, как он говорит, «скачок в неизвестное», то есть становится в эпоху кризиса народничества правоверным марксистом. Очень характерен для героя романа этот рефлекс «неизвестности»... Но тем не менее весь тонус его поступков вполне трезв. Кащеева цепь постепенно начинает подаваться. Народ в его представлении теряет таинственные черты. Романтика мира, как обратная сторона детства, прорывается в форме догматического принятия марксизма, но уже читатель спокоен за судьбу Алпатова — реки, как известно, вспять не текут. Совершается первая победа: М. Пришвин делается материалистом. Психологически победа эта в сознании героя отражается следующим образом: юноша убеждается в отсутствии у старших тайн... До этого поведение взрослых казалось ему чем-то таинственным. Равнение человека по взрослым и знаменует рождение в нем зрелости. Замечательны далее переживания юноши в тюрьме. Никто и никогда еще так радостно и здорово не изобразил жизнь человека, лишенного свободы. Небо, шум половодья, предчувствие любви, свет зимнего солнца — вся внерешеточная жизнь бодрит уз-

ника, который находит внутри себя противоядие: он в четырех стенах начинает путешествовать — мысленно, с увлечением. Вторжение природы в человека и страсть к путешествиям потом делаются лейт-мотивами творчества М. Пришвина.

Особо поговорим о М. Пришвине-охотнике, о М. Пришвине-лесном человеке. Эта тема не врезывается клином в его творчество. В ней имеются черты, роднящие писателя с Курымушкой и Берендеем. Утрата человеком связи с растительным и животным миром, получившаяся в результате изоляции города от природы, волновала писателя с давних пор. Параллельно высвобождению его из окружающих человека с детства «тайн» шел в нем процесс восстановления родства с природой. Детский образ мужика, охотящегося за несуществующим «белым» перепелом — символом утраченной красоты, тревожил М. Пришвина всю жизнь. С ростом его реалистического мироощущения «белый» перепел все более и более превращался в совершенно реальное животное, наделенное хитростью, умом, страстью, веселостью. Обитатели лесов, болот и полей делались его друзьями, его школой жизни. Зайчата, перепела, лисы, тетерева, собаки учили его бесстрашию, (смерть Анчара), хоровой жизни (песнь тетеревов), соревнованию (смертный пробег), любви (любовь Ярика) и выносливости. Охота, как способ воспитания в человеке мужества и ума, как способ добывания пищи («какая проза!» — воскликнет иной непротивленец и эстет...) и, наконец, охота, как средство узнавания человечьих голосов птиц и зверей (например, рассказ о том, как перехитрили человека гаечки-синицы) — вот элементы здорового роста человека, вот кузница душевной закалки. И совсем не патетически звучат восклицания писателя: «Иду в лес и справляю свое рождество, до того прекрасное...» «От-

ные берендейка (старинная перевязь на плече охотника) — неразлучный спутник Пришвина-Берендея. Погружения в природу, свойственные ему в начальные годы писательства, сменились близостью, равноправностью с природой. Пейзажи — необходимое дополнение охоты — в его произведениях постепенно делались пластическими, яркими, не туманными.

Таков в общих чертах путь становления М. Пришвина, как художника-реалиста, победившего свое «социальное происхождение». Характерно, что этот момент совпал у него с появлением большого романа «Кащеева цепь» — эпопеи о человеке, перешагнувшем порог бытовизма и преодолевшем косность общественных привычек.

Длительное переживание детства и постепенное преодоление его является главной (скрытой), идеей романа. Сюжет этого сложного, насквозь органического, богатейшего произведения дает ключ для понимания происхождения всего творчества М. Пришвина. Конечно, этот стержень, так называемая инфантильность, не имеет в жизни писателя самодовлеющего значения. Формы его появления зависели от окружающей обстановки и многообразного опыта писателя, которые вкратце и были отмечены нами в обзоре некоторых произведений М. Пришвина.

М. Пришвин все время бился в цепях родного прошлого. Действительность, к счастью, на каждом шагу вносила коррективы в его чувствования. Некоторый романтизм, известная доля общественного скептицизма иногда омрачали и омрачают его лицо. Индустриальных тем он не чуждается, но и не ищет их, предпочитая слушать стародавнюю музыку крестьянского и ремесленного труда. Писатель несколько подозрительно и осторожно всматривается в подвижные, подчас комические, лица комсомоль-

цев-энтузиастов, занимающихся «изучением производительных сил края». Не без юмора он поправляет их работу, любовно вводя их пыл в рамки целесообразности. Пуще всего он боится всяческих открытий уже открытых Америк. Восторженность молодых его радует, но он знает, что в любом восторге есть доля «романтичности» и Курымушки. Сумеет ли каждый Курымушка и Миша Алпатов наших дней вырасти в Берендея? — Сумеет, отвечает он, но не расточает при этом похвал молодежи и избегает ненужных восклицаний.

Кащееву цепь своей жизни М. Пришвин разбил не революционным натиском (здесь он остался верен своему прообразу — Курымушке...), хотя и отдал дань в свое время этому могучему методу борьбы. Как яркая творческая индивидуальность, он проложил дорогу своими усилиями. Типическое в его судьбе исходит от здорового мужественного крыла русской интеллигенции. Создание монументального, циклового произведения-романа «Кащеева цепь» — сделалось возможным в революционное время. До этого же момента происходило накопление сил и проверка себя. Методы проверки себя, добытые М. Пришвиным, в своем основном содержании могут послужить образцами для каждого человека, пожелавшего стать пионером в какой-либо творческой области.

Без преувеличения можно утверждать, что М. Пришвин — один из самых здоровых писателей нашего переходного времени. Поэтому он современен, нужен. В его произведениях, особенно позднейшего периода, чрезвычайно много кислорода.

Объективная философия творчества М. Пришвина, открывающего как бы заново родную стихию родной земли, покоится на единстве природы, человека и общества, на родстве ученого с первобытным человеком, открывшим огонь, на охоте за живым словом

на здоровой иронии над слабостями человека, на ненужности в жизни какой бы то ни было «сумасшедшей тревоги» и «бескорыстных», то есть совершенно бесполезных поступков и, наконец, на пафосе труда...

В писательской манере М. Пришвина совершенно отсутствует саморазоблачение, неврастеническая покаянность, обнажение душевных язв и прочее. Его художественное мышление обращено не в себя, а как бы в свое зеркало — он смотрит на себя, как на постороннего. Реальное бытие чужих «я» для него закон. Отсюда индивидуальность М. Пришвина воспринимается читателем через призму, общую для всех людей. М. Пришвин — самостоятельный создатель этого спокойного стиля, которому почти несвойственна рефлексия. Читателю, привыкшему к обнаженному повествованию в русской литературе (Достоевский и другие), автор «Родников Берендея» может быть покажется сухим, выхолощенным. Но в том-то и дело, что страстность его не исчезает, а загоняется внутрь, наружу же выходит мнимое бесстрастие. Недаром у писателя вырывается протест против злой традиции русской литературы: обязательно «описывать в романах разных униженных и оскорбленных, а не победителей...» Он сделался писателем-«победителем», победив традицию... Не легко это далось ему, русскому писателю, выросшему на великомученических образцах русской литературы и испытавшему в свое время увлечения и соблазны дореволюционной интеллигенции.

Некоторый рационализм языческого толка придает его произведениям крепость, весомость. Иной раз кажется, что М. Пришвин скрытничает и знает больше, чем говорит. И лиризм у него особый — подспудный, выдержанный и очень тонкий. Поэтому хорошая культура чтения должна предшествовать ознакомлению с его произведениями.

Совершенное овладение М. Пришвиным литературной формой особенно сказывается в его маленьких рассказах о разных встречах с людьми и зверями. На двух-трех страницах начинает жить полноценный сюжет — всегда оригинальный и новый. Писатель-путешественник (М. Пришвин всегда движется, никогда не сидит и не «высиживает» своих рассказов), с острым глазом и чутким слухом в каждом маленьком факте улавливает большой человеческий смысл. Так создаются поразительно эпические миниатюрные произведения. Они немножко житейски-сказочны, так как всякая мелочь, возведенная в степень события, открытия, поражает своим притаившимся смыслом, своей несказанностью. Они — неожиданны, они мудры. Раскрываешь от удивления глаза и начинаешь верить в великое познавательное значение искусства. Общему стилю писателя соответствует язык: простой русский классический язык, лучшим мастером и наследником которого можно считать М. Пришвина. Особенно это ценно в наше время — в эпоху засорения языка словарными и синтаксическими искажениями. Отсюда вовсе не следует, что М. Пришвин консервирует русский язык. Нет, он его обогащает новыми оттенками, новым синтаксисом — в этом отношении показательно у него смелое построение фраз, когда логическое ударение (по обыкновению окрашенное в юмор) переносится на конец фразы. Интересность произведения от этого повышается. То же самое можно сказать и о построении рассказов: смысл события раскрывается как-то вдруг — неожиданно. Заметим, писатель почти совсем не прибегает к ремаркам, скобкам и прочим приемам наведения на идею произведения.

Что же доказывает творчество М. Пришвина? Одно существенное положение: большое литературное «прошлое» писателя, связанного с чресполосной эпо-

хой в истории русской буржуазно-интеллигентской культуры, не всегда является тормозом, препятствующим продвижению вперед, в «настоящее». М. Пришвин, на наш взгляд, овладел культурой дореволюционной России, то есть взял из нее [illegible] живучее, все ценное, все творческое и построил [illegible] свое здание, гармонирующее с современно[illegible] Свою собственную социальную неустойчивость [illegible] преодолел. Теперь М. Пришвин владеет сильным противоядием — берендеевой сопротивляемостью, вскормленной на вольном воздухе человеческим трудом.

Совсем недавно вырвалось у него ценное признание о «распылении старого мира, в котором мы воспитались». Правда, в наше время такое признание — не новость, но это сказано самым крепким, настойчивым, здоровым художником в современной литературе.

Мы уже упомянули, что биографически-хронологический момент в истории творчества М. Пришвина не может вскрыть его художественную сущность, которая, главным образом, определяется наличием в каждом писателе тех или иных мотивов и жизненных задач, а не фактами собственно биографического свойства. Соответственно этому порядок и нумерация томов его собрания сочинений будут не хронологические, а тематические, которые совпадают у М. Пришвина с формальными признаками: М. Пришвин-беллетрист, журналист и краевед:

Том I Охота за счастьем } рассказы и повести по материалам охоты и путешествий.
„ II Колобок

III Родники Берендея — художественное краеведение.

IV Заворошка — исследования журналиста.

V Кащеева цепь I } роман
VI Кащеева цепь II



ОХОТА ЗА СЧАСТЬЕМ

Рассказ из своей жизни

Есть охотники-промышленники, для которых охота является средством существования, есть браконьеры, есть охотники-спортсмены, есть любители бродить с ружьем в свободное время, так называемые поэты в душе, и множество других типов этого рода общения с природой. Охотники, зараженные этой страстью так, что она держит их до самой смерти, бывают только из особенных людей, ими надо родиться и непременно быть посвященными этому занятию в детстве. Может быть, и бывают какие-нибудь исключения, но едва ли много, я лично таких исключений не знал. Все охотники с биографией, художники, натуралисты, путешественники типа Пржевальского, охоту свою начинали с детства, и если разобрать хорошенько, то занятия этих ученых и художников через посредство охоты были переживанием детства.

Давно с неустанным вниманием вглядываюсь я в материалы, доставляемые собственным опытом, и только мало-по-малу появляются у меня некоторые намеки на мысли об этом инстинкте дикаря, продолжающем обитать в душе цивилизованного человека. Одно для меня ясно, что охота неразрывно связана с детством, что старый охотник — это человек, до гроба сохраняющий очарование первых встреч ребенка с природой. Крошкой я помню себя с луком в руке, подстерегающим в кустах часами самых маленьких птиц, подкрапивников. Я их убивал, не жалея, а когда видел кем-нибудь другим раненую птицу или помятого ястребом галчонка, то непременно под-

бирал и отхаживал. И теперь, часто размышляя об этой двойственности, я иногда думаю, что иные наши высокие чувства тоже питаются кровью.

После лука у меня был самострел, потом рогатка с резинкой, из которой я одной дробинкой почти без промаха бил воробьев. Первое огнестрельное оружие, конечно, я сделал сам из простого оловянного пистолетика. Настоящее ружье взял я в руки, будучи учеником первого класса елецкой гимназии. Мне достал ружье один из трех моих товарищей, с которыми я пробовал убежать по реке Сосне на лодке в какую-то мне тогда не очень ясную страну Азию. Я думаю, что этот побег определен был в меньшей степени режимом деляновской гимназии, чем особой моей склонностью к путешествиям, и что если бы жизнь моя сложилась более правильно в юности, то я был бы непременно ученым путешественником.

Мы странствовали несколько дней, много стреляли. Изловил нас знаменитый тогда в Ельце истребитель конокрадов — становой пристав Крупкин, вероятно, очень хороший человек. Настигнув нас, становой угостил водкой, сам поохотился с нами, похвалил нашу стрельбу и, между прочим, доказал, что вернуться нам все-таки необходимо: Азии мы до зимы все равно не достигнем. Нас встретили насмешками: «Поехали в Азию, приехали в гимназию». В такой острой форме уже в детстве стал передо мной вопрос об отношении сказки к жизни. Это перешло потом в бунтарство, метавшее меня из одного учебного заведения в другое, из страны в страну.

В конце концов я попал в Германию. Из-за всякого рода бунтов я оставался в сущности полуобразованным человеком и, болезненно чувствуя это, набросился в Германии на разного рода науки. Но эта жажда посредством науки сделаться хорошим человеком сама по себе отдаляет от правильных занятий и

обрекает на вечное искание. Душевная смута не дала мне возможности стать ученым, но все-таки я понял, что школа ученого состоит в осторожном обращении с фактами, и когда я это усвоил, то меня перестала мучить моя необразованность, я стал человеком с высшим образованием и даже получил соответствующий диплом с недурными отметками.

Вернувшись в Россию, я встретился с запрещением въезда в столицу и устроился на службу в земстве, как агроном. В то время ученому агроному в земстве было очень трудно определиться, и все дело сводилось к устройству кредитных товариществ, к пропаганде травосеяния и торговле в земском складе разного рода сельскохозяйственными орудиями и семенами. На этом деле я мог пробыть всего только год и, однажды, случайно встретившись с профессором Прянишниковым, стал готовиться в сельскохозяйственном институте под его руководством к исследовательской работе на опытной станции. В это время я начал писать в разных агрономических журналах и даже составлять книги, из которых «Картофель», как наиболее полное руководство к культуре этого растения, долго считался ценной книгой и лет на двадцать пережил мои занятия агрономией. На опытной станции, куда я определился из лаборатории Прянишникова, я прослужил менее года, тут я окончательно убедился, что прикладная наука меня не удовлетворит никогда.

Во время службы на опытной станции я вынес для себя ценную страсть прислушиваться к народной речи, я дивился ее выразительной силе. В это время в литературных кругах, перемоловших уже первое декадентство, начинало процветать особое эстетическое народничество, искавшее опоры в мистике. Но не старое народничество, не новое славянофильство, не эстетическая мистика и «мистический анархизм» были

основанием моих литературных занятий. Я начал заниматься изучением языка просто потому, что невыносимо скучно было заниматься агрономией — это первое, а второе — потому, что, будучи типичным заумным русским интеллигентом, в конце концов я должен был как-нибудь материализоваться в жизни. В известном возрасте вопрос о материализации своей личности становится ребром, иначе жить невозможно.

Я пропускаю здесь множество интимных фактов своего бедственного метания из стороны в сторону, своего несчастия, потому что пока не смею оголяться и беру пример с умирающих животных, которые, заболев, уходят в недоступные дебри и там прячут от глаза свой скелет. Несчастие — переходный момент, оно кончается или смертью или роль его — мера жизни в глубину, этап в творчестве счастья.

Средств существования у меня не было, и на руках была уже семья. Покинув службу, я не стал себе прискивать другую. Предполагая заняться переводами или агрономической литературой, я поселился в предместьях Петербурга, за Малой Охтой, в конце Киновийского проспекта, на котором росли березы, окруженные капустниками. Тут я пробовал писать повести, которые мне возвращались редакциями. Я был один из множества русских начинающих литераторов, которые представляют себе, что написать хорошую вещь можно сразу. Но я не был и тем литератором, который не сознает или не стыдится своей бездарности: пишет, пишет и потом выпирает наверх. Самолюбие мое было такое болезненное, что я ни разу не позволил себе лично отнести свою вещь в редакцию. Разбитый в своих надеждах написать сложную психологическую вещь, я выдумал себе опыт описания просто каких-нибудь интересных фактов: через это, я думал, моя страсть к бумагомаранию получит оправдание, и я, научившись этому, пойду и дальше в

глубину. Так я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта. Мне мешало сделаться быстрым литератором, вероятней всего, впечатление того колоссального, скромного незаметного труда научных работников, благоговейным свидетелем которого я был в лабораториях германского университета.

К моему счастью в тех же капустниках Киновийского проспекта начинал свою карьеру бывший провинциальный фельдшер, теперь известный этнограф, Н. Е. Ончуков. Посвященный мною в мои детские мечты о какой-то Азии, он стал уверять меня, что Выгозеро, Архангельской губернии, вполне соответствует моей мечте, и что мне непременно надо поехать туда. Ончуков познакомил меня с академиком Шахматовым, который кое-чему научил меня, достал мне открытый лист от Академии наук, и с тех пор звание этнографа сопровождает меня всю жизнь, хотя я наукой этой не занимался.

Я отправился на север для записей былин по примеру Ончукова, нисколько еще не думая об охоте. Но в Повенце, в земской управе, меня убедили купить себе берданку, потому что в петровский пост я себе у крестьян не смогу достать мяса, а дичи так много, что я без труда добуду себе ружьем сколько угодно.

Где теперь это ружье, ставшее источником моего счастья? При первом же выстреле мне вдруг явились те дни настоящего счастья, какое испытал я при побеге в Азию. В глазах у меня осталась вспышка зеленого света лесов при этом первом выстреле в поднявшегося из лесной заросли глухаря. Я убил его и навсегда стал свободным человеком, что-то вдруг понял.

Сейчас я, охотник, выучивший не одну собаку, с глубоким презрением посмотрел бы на охотника

с берданкой, заряжающего патроны без марки, вытуривающего дичь своими ногами и воображающего себя причастным к охоте. Но в архангельских лесах смотреть на меня было некому, а дичи было так много, что даже из дробовой берданки, стреляющей на двадцать шагов, я всегда добывал себе дичь на обед. Я охотился и много работал днем и светлою ночью. Совершенно один я проникал к лесным жителям с сомнительной репутацией и удивляюсь, как все обошлось благополучно. Один раз вступил в состязание с колдуном, кто кого перепьет, и, когда тот свалился, вытащил у него из-за сапога заговор, списал его и повалился рядом с ним на березовой листве, заготовляемой на севере, как сено, на корм скоту. Из-за кустов на светлых лесных озерах, называемых по-карельски ламбинами, иногда я видел семью лебедей, таких прекрасных, что не решался в них стрелять, и потом переносил это в сказку о лебеди, умолявшей не стрелять ее, и так через себя самого догадывался о таинственном значении сказки.

Теперь я думаю, что каждый художник непременно является наивным реалистом и верит, что мир именно такой и есть, каким он его воспринимает. Но все-таки эти карельские камни, славянские песни о соловьях, которых здесь никто не слыхал, и моя собственная, единственная в своем роде, неповторимая короткая жизнь: ведь только вспышкой моей живой жизни освещались эти финские скалы и славянские былины!

Сколько лежит огромных томов путешествий, в которых девяносто девять страниц посвящается описанию фактов, и одна только страница своего личного отношения к фактам; теперь все девяносто девять страниц устарели, и их невозможно читать, а одна своя страница осталась, и через сто лет мы берем ее в хрестоматию.

И сколько книг о путешествиях не имеет теперь никакой цены только потому, что авторы выдавали свою сказку за действительность и тем унижали собой жизнь и себя самих жизнью.

Этот вопрос о действительности и легенде мне был поставлен еще в детском моем путешествии в фантастическую Азию, которая обернулась в гимназию. Заставленный жизнью признать гимназию, в глубине души я берег свою Азию и, наверно, потому и метался из стороны в сторону, чтобы в конце концов доказать реальность своей Азии.

Вторую книгу моих северных странствований, «Колобок», мне до некоторой степени удалось построить на этом узнавании себя в обыкновенных фактах жизни, отчего сами факты становились выпуклыми, но вначале я совсем не владел пером, и только название моей первой книги сохранило в себе мои истинные переживания при этой встрече с природой после стольких лет засмысленной жизни. Я назвал первую книгу: «В краю непуганных птиц».

Вернувшись на Охту, я спросил у знакомых, кто лучше всех писал этнографические очерки. Мне назвали Маркова. Я посмотрел начало и так же начал, а потом пошло совершенно по-своему, и, кажется, чуть ли не в месяц я написал свою книгу листов в двенадцать.

Да, не нужно никогда бояться образца. Если есть что-нибудь свое, то оно победит непременно, а если нет ничего своего, то с хорошего образца все-таки при усердии выйдет хорошая д е л а н н а я вещь. А между тем этот предрассудок боязни чужого многих новичков очень смущает.

На этой книге я понял причину своих первых неудач в литературе. Они были потому, что я не мог быть самим собой. Теперь я понял себя, что по при-

роде я не литератор, а живописец, ведь я мало смею выдумать, я работаю по натуре, и если дерево стоит направо, а я напишу налево, то рисунок мне обыкновенно не удастся. Но я вижу все живописно, и не приученный к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями. Так, будучи по природе живописцем, а еще верней музыкантом, я стал пользоваться для выражения себя силой другого искусства, и это вторая причина, почему я до сих пор иду на тележном ходу. Что же делать-то? при усердии и так хорошо. А, может быть, и все художники работают мастерством чужого искусства, пользуясь силой родного? может быть, и само искусство начинается взамен утраченного родства?

Издатель спросил меня:

— Ваше основное занятие живопись?

Вероятно, он основал свой вопрос на множестве моих живых фотографий, но после и другие писали, что книга построена на зрительных впечатлениях. Издателю Девриену очень понравились и мои фотографии, и по-своему, наверно, и описание природы неведомого ему края, такого близкого к Петербургу и не менее таинственного, чем отдаленная Новая Гвинея и Центральная Африка. Швейцарец спросил меня еще:

— А нельзя ли там где-нибудь купить дачу?

— Комаров очень много, — ответил я.

Он опечалился. Мне показалось, что он из-за этого может разочароваться и в книге. Я поспешил успокоить старика будущностью края, когда болота будут осушены, и уничтожатся комары.

— Место, — сказал я, — можно купить и теперь, а дачу построить, когда осушат болота.

Он опять обрадовался, а я, осмелев, попросил его прослушать одну главу в моем чтении. Тогда он вышел в другую комнату, привел с собой детей, вероятно,

внуков и внучек, усадил их и велел слушать. После того, как я прочел главу, старик, показав сам пример, велел детям аплодировать. Книга решительно понравилась издателю, и он тут же в первый разговор дал за нее мне шестьсот рублей и сдал в печать для роскошного издания.

Я устроил свою первую книгу, не имея никаких связей, не зная в Петербурге ни одного литератора, даже корреспондента. Мне дали за книгу медаль в Географическом обществе, и в «Русских ведомостях» я стал постоянным сотрудником. Я схватил свое счастье, как птицу на лету, одним метким выстрелом. Но мало того, что я схватил, мне кажется, я тут же и посолил свое счастье, чтобы оно не испортилось, как это сплошь и рядом бывает у многих удачно начинающих литераторов.

Конечно, я понимал, что не труд по собиранию этнографических фактов определил значение книги, а скрытая в ней игривая затея. Вероятно, ранее в жизни я был подавлен несродной моей природе формой труда и потому получил представление, что оплачиваемая основа его есть то ослиное терпение, с каким я писал книгу о картофеле. А когда издатель за мою просто игру дал мне вдруг шестьсот рублей (помню: все золотыми), я принял это, как величайшее неслыханное для меня счастье: значит, я могу жить играя, и впредь труд мой будет игрой. Только надо смелей и смелей играть, заметая за собой все следы пота и слез.

Смешно говорить о деньгах, получаемых за литературную придумку, если спекулянт, обращающий придумку в торговое дело, за одну такую придумку, как мое название «В краю непуганных птиц», получает деньги, какие я не могу заработать всю жизнь, но мне казалось, мои деньги особенные, это прекрасные деньги. Выдумав себе чрезвычайно дешевый спо-

соб путешествий, я и на малые деньги устроил такие экспедиции и охоты, какие доступны только миллионщикам. Я везде побывал: и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, в горах, в лесах, в океанах, пустынях, добрался и до той Азии, куда хотел убежать в детстве, убил там между Каркаралинском и Балхашем трудного зверя архара и оставил там о себе легенду, как о каком-то Черном арабе.

Мои писания имели успех прежде всего в высших литературных кругах. Ремизов с Ивановым-Разумником взялись о мне говорить, — первый в своем многочисленном петербургском литературно-художественном обществе, второй написал большую статью. Я перезнакомился со всем литературно-художественным Петербургом, и это очень влияло на повышение гонорара. Кажется, раз было это в квартире Замятина, кто-то сказал мне, что я плохо хозяйствую, что, например, в «Биржевых ведомостях» мне дали бы по полтиннику за строчку. Я сомневался. Говоривший взял телефон.

— Идите сейчас туда, редактор вас ждет, только непременно скажите, что по полтиннику.

Я отправился немедленно и обещался через полчаса вернуться. С невероятным трудом решился я сказать редактору: «п о п о л т и н н и к у».

— Я хотел вам предложить сорок копеек, — сказал он.

— Нет, — уперся я, — по полтиннику.

Ему пришлось согласиться.

Я до того обрадовался, что влетел в квартиру этажом ниже Замятина и крикнул из коридора:

— Ура, дают по полтиннику!

Сам я этот эпизод совершенно забыл и рассказал мне о нем недавно Замятин. Вероятно, было много такого. Дела мои шли в гору. В «Шиповнике» стали платить почти тысячу рублей за лист, как

вдруг все мое мастерство оказалось ненужным занятием, и мысль сосредоточилась на куске черного хлеба.

Новое испытание моей жизненной силе не было той картиной личной неудачи, несчастия, о котором я отказываюсь говорить вслух. Это испытание было не личное, а общее, и рассказывать о нем нетрудно. Незадолго перед революцией я сделал одну ошибку, которая поставила меня в трудное и довольное глупое положение. Умерла моя мать, и мне досталось после нее по разделе с братьями тридцать десятин земли. На свои литературные сбережения я выдумал выстроить там себе дом, и как раз на том месте, где я маленьким ворсвал у арендатора яблоки. Это забавное дело я предпринял, уже имея в виду революцию, но мне казалось, что тридцать десятин пустяки: я не помещик. Я ошибался, потому что в глазах крестьян моя земля была частью целого неделенного, в их глазах, имения.

Конечно, я не о затратах своих жалею, а что сам поставил себя в такое положение, когда все показывается с самой дурной стороны. Невыносимо было хозяйствовать в таких условиях и нехватало находчивости бросить во-время. Впрочем, из уважения к моей покойной матери долго не решались меня беспокоить. Потом начались обыски и унизительные наши укрывательства хлеба. Однажды было приказано сдать охотничье оружие. Это меня доконало: я связывал с обладанием ружьем все мое счастье. Ружье мое было прекрасное, и я уже был тогда настоящим воспитанным охотником. Я решил ружья своего не отдавать и лучше уж утопить его в пруду, чем видеть в чужих руках. Так и постановили с женой. вечером она стала выполнять это мрачное дело. Не знаю для чего, но мы все-таки завернули ружье в клеенку, обвязали веревками. Потом жена взяла этот

гроб, унесла и через час вернулась с пустыми руками. Все было кончено: мое счастье утонуло.

На другой день после этого большого горя пришли в нашу деревню какие-то нездешние люди и стали требовать у крестьян моего удаления. На этом собрании один приятель за меня заступился и сказал так: «Этому человеку, быть может, нам придется ставить памятник подобно Пушкину». — «А вот, ответили ему, — за то и надо его выгнать, чтобы не пришлось потом ставить памятника».

Мне представили выдварительную.

На прощанье одна деревенская портниха, сочинявшая стихи и прозванная Королевою, прочла мне свои стихи:

> Село дитятею хранило
> Поэта будущего в свет, —
> Теперь же им оно гордится,
> Сердечный шлет ему привет.

Вслед за Королевой пришло множество людей. Сдавая имущество, я заметил, как одна служившая у нас хорошая старуха, в вишняке тащила с плачем бычью шкуру. Она была глуховата и не замечала, что сухая шкура шумит и ее выдает. Она плакала, потому что ей было жалко нас. Она все-таки шкуру тащила, потому что все равно другие утащат.

Я перебрался в город, странствуя время от времени по большаку в деревню за хлебом. В моем доме устроился волисполком, а в большом родительском был театр, и там всем заведывал Архип, с которым мы в детстве учились в сельской школе, и жена его Дуняша, служившая у нас еще с малых лет. Архип с Дуняшей поселились в спальне моей матери. Тут, у них стало как в избе: и хомут, и мешки с семенами, и лопаты. Им было неудобно тут жить. Дуняша вечно ворчала на Архипа и проклинала дом. Меня они по-своему, по-крестьянски, жалели, и когда я

приходил за хлебом, угощали меня квасным тестом с ягодами. Каждый раз, посещая родное гнездо, замечал я, что деревья старого парка снизу все оголялись и оголялись, пока, наконец, не стали похожи на пальмы. Раз в холодную ночь я и сам не утерпел и затопил себе печку нижними сучьями родимой яблоньки. В зале, где был театр и танцовали, сор не выметался, и от подсолнухов стало мягко ходить. Балкон стал съезжать вбок, стекла на окнах бились. Старый дом отказался служить раньше, чем кончилось увлечение театром и танцами. Мой новый дом отчего-то сгорел.

Раз, помнится, шел я из деревни поздней осенью с двумя громадными ковригами хлеба, с четвертью молока и мешком картошки. Какой-то счастливец вдали гонял зайца, лай гончей мне был слышен до самого города, и все время мне казалось, что этот страшный охотник гоняет меня, как зайца, из города в деревню и опять в город...

Предел этой жалкой жизни поставлен был нашествием Мамонтова. Полководец опустошил город Елец своими казаками и киргизами, как в старые времена он не раз был опустошаем татарами. Сколько надежд у обывателей связывалось с ожиданием Мамонтова и как быстро, в первый же час вступления казаков в город, надежды эти рухнули.

В этот день было порядочное избиение казаками евреев. Вместе с евреями погибло столько же русских брюнетов, и я спасся одним веселым чудом, которое создает иногда душа даже труса в последний момент расставания с жизнью.

Нашествие Мамонтова было пределом моего так называемого несчастия. Тут была поставлена последняя точка испытания в глубину, и я опять стал выбираться к свету и воле. Однажды мне доставили из деревни одну вещь, завернутую в клеенку и обвя-

занную веревкой. Я не позволил себе узнать эту клеенку и веревку. Дрожащей рукой стал я развязывать и так встретился опять с моим прекрасным ружьем. Тогда раскрылась тайна моей жены: ей было не по душе мое решение утопить вещь, без которой она не могла себе и представить мое существование. Она отправилась к одному верному мужичку и упросила его спрятать ружье, а мне сказала, что утопила. В этот час снова загорелась моя детская Азия и созрел план путешествия из разоренного края на родину моей жены, в Смоленскую губернию, в благословенные лесные места. Мне представилось, что если я там буду учить деревенских ребят, то, может быть, это будет так же интересно, как и писательство. Я решил сделаться народным учителем и начал готовиться к сложному путешествию в край, угрожаемый поляками. Известно, какая езда была тогда по железным дорогам. Одно время мы думали продать все, что у нас осталось, купить лошадь с телегой и двигаться, как цыгане. Но скоро план этот рухнул. Мы пристроились к вагону-лавке, погрузились, уверенные, что лавка предохранит нас от заградительных отрядов. В самый последний момент из родной деревни пришла прощаться Королева и поднесла мне полотенце с вышитым на нем стихотворением:

Ты к нам ехал, мы не знали,
Словно месяц в небе плыл.
Прощай, гений наш прекрасный,
Прощай Пришвин Михаил

Хотя дела мои пошли на поправку с того момента, как я получил ружье, но далеко еще было до охоты. Во время этого путешествия у меня в бороде показался первый седой пучок. Я придумывал тысячи хитростей, чтобы охранять ружье, но однажды меня застали врасплох.

Мандат не предохранил меня. Хищный начальник

отряда соблазнился моим ружьем, взял его и понес, давая этим понять, что он возьмет мое ружье, но за это не будет осматривать другие вещи. Он ошибся в расчете. Я взревел. Без шапки со слипшимися от вагонной жары волосами я бросился за ним на платформу, стал честить его родительскими словами, собирая толпу. Я мог бы и не так ругаться, я мог бы дать и в шею этому хищнику, и мне ничего бы не было, потому что я был уже за пределом бед, и счастье повернулось в мою сторону. Из толпы вышел небольшой черненький человечек, чистый, в хорошем пальто, и строго, решительно сказал начальнику:

— Возвратите ружье этому товарищу.

Тот опешил.

— А вы кто такой?

— Я маголиф, — сказал черненький.

И стал доставать документ из кармана.

Я понял, что слово маголиф означало представительство от какого-то важного учреждения, передаваемое сокращенно.

Начальник, зная свою неправоту, не стал читать документа и ружье мне возвратил, не сказав ни одного слова.

Маголиф поклонился мне, пожал руку: он был хроникером одной газеты и не раз меня в ней встречал.

— Но как же — спросил я — вы стали маголифом, и что, собственно, значит это: ма-го-лиф?

— Ничего не значит, — ответил молодой человек, — это моя фамилия.

— А документ?

— И в документе ничего не сказано особенного, только, что я состою агентом телеграфного агентства РОСТА.

Конечно, у всех были свои приемы самозащиты. Мой прием грубой прямоты и крепкого ругательства был тоже не плох в провинции, но, приближаясь

к столице, я стал подумывать, что с этим далеко не уедешь. И, конечно, этот эпизод с маголифом дал мне возможность избрать слово ф о л ь к л о р для безопасного путешествия в Смоленскую губернию. В Москве я выпросил у Луначарского мандат на собирание фольклора и на тюке, в котором были зашиты все запрещенные вещи, написал красным карандашом: ф о л ь к л о р, продукт не нормированный. Слово фольклор действовало так же решительно, как маголиф, и только благодаря ему я довез благополучно и ружье и другие вещи. Еще в Москве мне сослужил великую службу мой старый товарищ и друг по гимназии, с которым в юности мы были в одном подпольном кружке, Н. А. Семашко. Вероятно, он думал, что я пришел к нему устраивать какое-то свое большое дело, и он был очень рад меня видеть и готов был предоставить мне все, что мог; мог он, конечно, многое. Но я попросил его только достать мне пороху, немногу пороху...

— Можно?

Чуть подумав, он сказал:

— Можно.

И стал писать куда-то.

— Сколько же пороху? — спросил наркомздрав.

У меня было на языке два фунта, но вдруг стало три, потом четыре.

— Немного, — сказал я, — если фунтов пять?

— Напишем шесть, — ответил Семашко.

Дорого, конечно, не то, что он написал, а что не стал поднимать вопроса о пустяках, которыми я занимаюсь в такое серьезное время: значит, Семашко по старой дружбе меня понимал.

В ГАУ, где мне пришлось доставать порох по записке Семашко, встретился мне на важном посту один знакомый охотник и к шести фунтам черного пороху добавил еще от себя два фунта бездымного. Он же

научил меня, как можно достать дроби: дроби нигде нет, надо забраться в какую-нибудь большую музейную усадьбу со старинными висячими лампами и высыпать из них балластную дробь. Я сделал, как мне было указано, и так добыл дроби еще больше, чем пороха. И вот такое-то великое богатство я без всяких осложнений довез до Смоленской губернии под маркой фольклора. Впрочем, и довольно интеллигентные люди на пути, когда я объяснял, что фольклор — продукт не нормированный, спрашивали меня с любопытством, — что это такое, а когда я объяснял, что фольклор означает народные песни и сказки, дивились моей выдумке.

В деревне Следово, Дорогобужского уезда, на родине моей жены, нас встретили недружелюбно. Там, в лесном краю, земля доставалась великим трудом. Крестьяне боялись, что жена моя сначала поселится просто, вотрется, а потом, как местная уроженка, потребует надела на всю семью. А потому квартиры себе найти мы нигде не могли. Но по летнему времени квартира нам была и не очень нужна. Мы поселились в одном лесном сенном сарае, и тут, у ручья, я начал свою охоту и обыкновенные сродные мне наблюдения.

Какое счастье доставили тут первые застреленные мной птицы! Издали увидали мои ребята, бросились встречать, выхватили уток, тетеревей, понесли к матери. Подумаешь, какое противное занятие щипать птиц, но жена моя щипала сияющая и говорила:

— Ну, не думала, никак не думала, что опять придется щипать.

В ручье был светлый омут, глубокий, и в солнечных лучах там плавали красноперые рыбы. Сынишка мой их выхватывал на личинки. Деревья шумели музыкально верхушками. Даже угрюмый куст можжевельника был доверху обвит повиликой и диким горошком.

Да, это величайшее счастье, когда исчезает обман собственности, и на это место становится весь мир, как родной и прекрасный...

Я сделал большой список родни моей жены, разбросанной на огромном пространстве этого уезда и соседнего. И в то время, когда на Смоленскую губернию опрокинулась другая голодная губерния, когда каждый кусок хлеба, каждый глоток молока были на счету, я с пустым карманом, имея этот список, отправлялся в свои путешествия. Затвердив имя какой-нибудь троюродной тетки жены, которую и видела-то она один раз в своей жизни девочкой, являлся я к ней, объявлял родство и не только насыщался, а и прихватывал с собой и приносил в свой сенной сарай вместе с птицами сало и пироги. Через это родство я понял происхождение в русском народе того чарующего искренностью и простотой деревенского разговора и обращения, понял и те гримасы деревенского быта, когда родовая сила встречается с силой закона, понял русский анархизм, все понял во время этих скитаний.

На сене каким-то образом получается, что, как ни будь утомлен, в течение двух часов совершенно высыпаешься, а остальные часы проходят в полусне, когда малейший звук в лесу долетает до слуха и понимается в особенном значении: кажется, что звериную жизнь так же, как народную, читаешь через родство.

Однажды моя собачонка Флейта в такой час спустилась вниз, вышла из сарая и принялась тявкать. Я взял ружье и тоже по сену сполз вниз. Никогда невиданное зрелище открылось мне в эту ночь: вся наша большая поляна, окруженная лесом, сверкала огнями, и огни эти были от светляков. Даже собака была поражена этим редким зрелищем и вздумала на этот невиданный свет тявкать.

Дождь очень забавен в сенной пуне: жарит во всю мочь по драночной крыше, а сено все сухое. А когда начались холодные дожди, мы стали зарываться в сено, и там было очень тепло. И даже, когда морозы начались, то, зарываясь в сено все глубже и глубже, мы долго им сопротивлялись. Я слышал от крестьян, что даже в лютый мороз, если совсем глубоко уйти в сено, можно переночевать. Но этого я не испытал. Однажды после холодной ночи я вместо охоты отправился в ОНО и в пять минут получил назначение учителем (шкрабом) в одну школу, расположенную еще верст на десять дальше от города, чем Следово.

В учительской среде очень мало опытных старых хороших учителей, но те, кто начинает, первый год, много два — по моим наблюдениям, почти все талантливы. И пусть у них нехватает опыта, увлечение учителя передается ученикам, и это, кажется, не менее дорого, чем дело опытного учителя. Если бы все учителя могли остаться такими, как они начинали! Я был хаотичен, но талантлив, как начинающий. Ребятам от меня хорошо перепадало, отцы уважали за мужской пол, за возраст, за бороду. Теперь я, убив зайца или тетерева, захожу не к родне, а к родителям какого-нибудь моего ученика. Я захожу будто бы только отдохнуть, а завожу речь о положении учителя, что за целый месяц учебы получаешь восьмушку махорки, две коробки спичек и шесть фунтов овса, и что вот я настрелял дичи, сколько мяса несу, а нет сала и хлеба. После этого меня обыкновенно кормили, давали с собой сала и хлеба. Так установился черед вроде как у пастухов. Иногда в кармане пальто я находил бутылку самогонки и менял ее в следующей деревне на хлеб. Случалось, конечно, и сам выпивал, но больше не с горя, а с радости: дичь есть, сало есть, хлеб есть—почему же не выпить? Не могу тоже забыть счастливого дня,

когда один крестьянин, увидав меня осенью в калошах на босу ногу, идущим добывать себе пищу в болото, подарил мне совершенно новые, купленные им для сына, сапоги. Пусть он узнает, что я это помню: имя его Ефим Барановский. Мы с ним потом на его годовом празднике распили не одну бутылочку.

Одно время в течение нескольких месяцев по письму Семашко мне выдавали академический паек. И тоже было раз — на Батищевской опытной станции дознались, что это я написал книжку о картофеле. Станция меня поддерживала до самого конца всей моей робинзонады.

Под конец мне в самом деле стало, как Робинзону, когда он развел на своем острове много коз: все есть, а сам выходит на берег моря и думает, как бы переплыть это море.

За все это время я в совершенстве научился высекать огонь из кремня осколком подпилка. Кусочек трута я клал на угли, раздувал их, приставлял тончайшую лучинку: дунешь с силой, и она вспыхивает; только ночью, когда захочется покурить, часто попадаешь подпилком по пальцам, и оттого они у меня всегда были сильно обиты. И вот однажды явился некий человек с ситцами, зажигалками, бензином, все это он п р о д а в а л. Друзья купили мне зажигалку, и я до крайности был обрадован. В это же время я написал небольшой деревенский очерк и отправил его на случай одному знакомому журналисту. Через очень короткое время я получил за очерк великие миллионы и купил на них — страшно сказать — пятнадцать пудов муки!

Тогда я собрал свои пожитки, отправился в Москву начинать свое дело, почти такой же неведомый, как двадцать лет тому назад, когда вернулся из поездки в Архангельскую губернию. А. К. Воронский, напечатавший в «Красной нови» мою «Кащееву цепь»,

сыграл в моей жизни совершенно такую же роль, как старый Девриен, взявший мою первую книгу «В краю непуганных птиц». Так вскоре мне удалось счастье свое снова схватить, а сравнительная с прежним положением бедность меня не страшила. Я стал много смелее. Вот пример: раньше я был почти богатым человеком, но позволял себе иметь только одну собаку и одно ружье. Теперь же у меня при бедности почему-то четыре собаки и три прекрасных ружья.

Все это я рассказал, чтобы рассеять относительно охоты предрассудок, будто это просто забава. Для меня охота была средством возвращаться к себе самому, временами кормиться ею и воспитывать своих детей бодрыми и радостными. В заключение привожу слова Льва Толстого о счастьи:

«Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете? и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то покорно благодарю, и вам того желаю».



С О Б А К И

Флейта
Ярик. Верный
Смертный пробег
Кэт
Любовь Ярика
Анчар

ФЛЕЙТА

Было это в голодное время, я служил деревенским учителем и получал за свой труд в месяц две восьмушки махорки, коробочку спичек и шесть фунтов овса. Конечно, жили не этим: жена обшивала деревню, я добывал мясо охотой. Собака в то время у меня была почти совершенно дворная, но почему-то считалась гончей. По зайцам она делала только полкруга, и я убивал их случайно, когда поднятый собакой заяц бежал в мою сторону и нарывался. Но и такую собаку, представьте себе, по великой нужде я приучил к охоте на птиц, так что бил их в большом числе и даже из-под твердой стойки. Почуяв, Флейта делала еле уловимую заминку перед гигантским прыжком, после чего, если птица не попадала ей в зубы, мчалась с брехом и пропадала надолго. Я воспользовался моментом этой заминки для культивирования охотничьего приема. Мы так делали: мальчик вел собаку на длинной веревке, я же с плетью в руке стерег заминку, и в самый момент прыжка останавливал бег сильным ударом. В конце концов получилось так, что когда Флейта подберется к тетереву, то ей становится страшно, тетерев стал ей пахнуть моей ременной плеткой. Мало-по-малу в ее манере установилось некоторое постоянство: как только почует запах близко сидящей в кусту птицы, она перевертывается ко мне мордой, к птице хвостом и так выжидает. Я же, приготовив ружье для стрельбы, обхожу собаку и ста-

новлюсь между нею и птицей. В первое время я бывало еще обернусь, и, если она в это время посмотрит на меня, погрожу ей кулаком, чтобы никак не смела глядеть в сторону птицы. Так я убивал и довольно много, и общая картина охоты с лягавой нарушалась только тем, что собака к дичи сидела непременно задом и притом еще свесив язык.

Вспомните, как в то время мы бывали счастливы, если случалось вдоволь наесться простого черного хлеба. Так и собакой своей по тому времени я был очень доволен. Однажды случилось, к моей Флейте во время охоты привязался деревенский кобель, я гнал его камнями и палками, ничего не помогало, наконец, разгоряченный, я стрельнул в него и поранил. За это на другой день хозяин кобеля стрельнул в мою Флейту, и она умерла.

ЯРИК

После того я охотился *по бродкам*, значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.

В то время верст за тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелем той же породы, та и другая собаки были из одного разграбленного богатого имения. И вот однажды в тот самый момент, когда жить стало особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем. Помню, раз было... На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от

них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было Иван-да-Марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье, — каких, каких цветов не было, но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки — собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести г р у д о к, как у нас называют костер, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дождаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы. Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:

— Ищи, друг! — я пустил своего Ярика.

Ярику теперь пошло третье поле. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле — конец ученью и, если все будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неутомимый и с чутьем на громадное расстояние.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот, если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи».

Но не чуткие мы и лишены громадного удоволь-

ствия. Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?», но никто из нас не спросит: «Как вы чуете, как у вас дела с носом?» Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведет, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: «что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?»

— Ну, ищи, гражданин!—повторил я своему другу.

И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьезно посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы не решился: один он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.

Оставалось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полкруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревей пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог

во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шопотом сказал:

— Иди, если можно!

Он распрямился, попробовал шагнуть вперед и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:

— Они тут были во время дождя.

И уже по самому свежему следу, по роске, по видимому глазом зеленому бродку на седой, от капель дождя, траве повел, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.

Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему доложил:

— Идут впереди нас и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю мертвую стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахать, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты, и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаться, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцовала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: как изваянный стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы так довольно долго стояли и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям:

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто пролетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту, и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая, серая, почти в курицу, птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самомуЯрикову носу, и над самой землей тихонечко полетела, маня его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся...

Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям:

— Летите, летите все в разные стороны, — сама вдруг взмыла над лесом и была такова.

Молодые тетерева разлетелись в разные стороны и как будто слышалось издали Ярику:

— Дурак, дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и виноватый медленно стал подходить.

Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно, — говорю я, усаживаясь в куст, — лезь за мной, смирно сиди, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит:

— Где ты, мама?

— Квох, квох, — отвечает она, и это значит:

— Иду!

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду — всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу: у меня возле самой коленки шевелится трава.

Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыпленка.

— Ну, понюхай, — тихонько говорю Ярику.

Он отвертывает нос: боится хамкнуть.

— Нет, брат, нет — жалким голосом прошу я — понюхай-ка.

Нюхает, а сам, как паровоз.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберет, одного не хватит — и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, семь, слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Иди к нам — отвечает она.

— Фиу, фиу: нет, ты веди всех ко мне.

Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там,

как горлышко бутылки, высунется ее шея, а за ней везде шевелит траву и весь ее выводок.

Все они сидят от меня в двух шагах, теперь я говорю Ярику глазами:

— Ну, не будь дураком!

И пускаю своего тетеревенка.

Он хлопает крыльями о куст и все хлопают, все вздымаются. А мы из куста с Яриком смотрим вслед улетающим, смеемся:

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

ВЕРНЫЙ

Мне удалось Ярика очень хорошо натаскать на болоте, но, страстный любитель лесной охоты, я не удержался от искушения, когда пришла пора, и стал охотиться с ним в лесу на тетеревей. В этом была моя ошибка: надо было потерпеть до другого поля. Однако в первые дни Ярик работал в лесу прекрасно, как и на болоте, только приходилось почаще свистеть. Но как-то под вечер, когда я возвращался с охоты, на дорогу выбежала тетеревиная матка очень позднего выводка и стала своими обычными приемами дразнить Ярика. Он бросился, по пути попал на тетеревят, ошалел и долго за ними носился. Сгоряча я так его вздул, что он вдруг вскочил и бежать от меня, я за ним, он дальше, дальше и пропал на всю ночь, а утром мы увидели его рыжие уши в картофельной борозде...

Кому приходилось натаскивать собак, тот поймет всю силу моего отчаяния: теперь исправить собаку можно было только с большим трудом, а об охоте в этом году и думать нечего. Выход был один—найти себе для охоты другую собаку, а Ярика учить снова, чтобы этот случай у него постепенно забылся.

Я стал себе приискивать собаку какую-нибудь, хотя бы даже в роде покойницы Флейты, лишь бы мало-мальски из-под нее можно было стрелять. И так, расспрашивая всех о собаке, я рассылал своих ребятишек узнавать, проверять слухи. Однажды они рассказали мне, что будто бы, когда они проходили мимо одного хутора с большой пасекой и сели тут отдохнуть, из дома вышел старичок с колуном и принялся за дрова. Наколов порядочно дров, этот старичок свистнул, прибежала собака черная с рыжими подпалинами, лохматая и, видно, очень породистая. Подбежав к старику, собака схватила полено в зубы и понесла в дом, потом вернулась, взяла другое и так, пока старичок отдыхал, перетаскала всю поленницу. Потом старик закрыл дом, отворил сарай, стал опять колоть, а собака носила поленья в сарай. Итак дети, поспешая домой, ушли, не досмотрев конца работы, только по количеству наколотых дров можно было понять, что старик этим занимался изо дня в день, заготовляя дрова на зиму, может быть и для продажи, а собака ему помогала.

— Верно ли, что собака черная с рыжими подпалинами и шерсть очень густая? — спросил я.

— Ну, как же, — ответили дети, — а лоб у него покруче нашего Ярика и переносица как бы с выломом и такой лохматый, что в общем похож на первобытного человека.

На другой день я пошел искать свое счастье на хутор.

Я застал точно такую картину, как рассказывали дети: старик колол дрова, а прекрасный гордон относил их в сарай. Один раз собака устала, не донесла полено до сарая, бросила и вернулась. Старик взял прут. Гордон, увидев прут, подбежал к старику, лег на бок у самых ног. Старик ударил сильно раз, два и бросил прут. Гордон вскочил, схватил этот прут,

весело поскакал с ним возле хозяина, бросился к уроненному полену, донес его до сарая и бодро стал продолжать работу.

Редкостная голова была у гордона, пышностью убранства ее можно было только сравнить с париками Людовика XIV, только зад был как бы деревянный, то ли от перенесенных побоев, то ли от чумы. После стороной я узнал, сколько побоев вынес бедный гордон на лесной службе у крестьянина: очень возможно, что зад пострадал от побоев.

— Что же вы, — говорю крестьянину, — охотничью собаку и заставляете нести такую службу?

— Какую там охотничью, — пробормотал старик,— вот никак не могу научить складывать, накидать-то накидает, а нет того, чтобы сложить.

Наш разговор услышал сын старика, вышел познакомиться. Поставили самовар. Сели за чай. Я рассказывал им о беде с Яриком и что я не прочь бы купить Верного, если бы у него оказалось хоть мало-мальски чутье. Мне же они рассказывали, что собаку в голодное время купили больше из жалости к Бендрышеву, и тот собаку хвалил. Я хорошо знал Бендрышева, это был у нас первый охотник, стрелок и дрессировщик. У меня мелькнула надежда, что, может быть, эти мужички просто не понимают, как надо обращаться с охотничьей собакой и зря мучат ее на дровяной работе и что ее надо купить сразу на счастье, пока простецы не расчухали. Я приценился, спросили двадцать рублей, совсем пустяки. Но у крестьян никак нельзя показывать виду, что дешево, я стал торговаться. Пил чай с медом, очень потел и торговался, хотя готов был и не двадцать и даже тридцать и больше отдать. Хозяева тоже усердно пили чай, потели и торговались и, такие чудаки, хвалили не собаку, а Бендрышева, повторяя, что Бендрышев охоту знает, как поп Егор «Отче наш». В конце концов я выторговал себе целых

пятнадцать фунтов меду, и с собакой и с медом, получив еще сверх всего свисток, побежал скорее домой.

Я двое суток ласкал Верного и не водил на охоту, и он так скоро привязался ко мне, что, если только я переходил в другую комнату, принимался выть и скулить. Это было добрейшее, переполненное сиротскими чувствами существо. На третий день я совершенно уверился, что Верный никуда от меня не уйдет, взял с собой ребят и пошел на охоту.

Для болота мне хорош был и Ярик. Верного мы повели на веревочке в лес. Там на поляне, вблизи которой можно было ожидать тетеревиных выводков, я отпустил Верного. Он сначала ринулся в кусты, но словно что-то забыв, вернулся и стал против нас на поляне, смотрел долго и, лохматый, то покосит голову на один бок, то на другой, и так все было похоже, будто он нас фотографирует. Сделав это, очевидно ему очень нужное, он исчез, показался, опять исчез, и все пошло как с отлично дрессированной собакой с коротким лесным поиском. Очень скоро там, где большая посеча переходит в болото, разделенная с ним густой зарослью, Верный прихватил и очень осторожно повел. В нем не было той страсти, как у Ярика, и того огненного глаза, отчего сам в себе вдруг узнаешь какую-то внутреннюю собаку и совершенно забываешься, как человек. Верный вел крайне осторожно, как бы не для себя это делал, а только для нас. Слишком долго он вел, очевидно птицы удирали, и это, наконец, он понял, остановился, посмотрел туда-сюда, не торопясь сделал круг и так отрезал отступление птиц у самой крепи в отдельно стоящем кусту. После того он стал хозяйственно, без всякого волнения: пришил. Мы расставились в линию, я посередине, ребята по бокам. И так мы стояли, пока я, наконец, решился сказать: — вперед... Верный сделал шаг, другой, и один вылетел, — выстрел, другой,—

еще выстрел. Мы их стреляли над крепью все трое, и они падали в топь, заросшую тростниками в рост человека и выше. Отстояв выстрелы, Верный спросился глазами, и сам пошел в топь, выносить одного, другого, третьего...

Дичи было много в этом краю. В несколько дней мы настреляли почти что на стоимость новой собаки, и вот как бывает, забудешься в своем счастьи: я написал бывшим хозяевам Верного, что очень доволен и не знаю, как их благодарить, и соглашаюсь вполне, что Бендрышев действительно знает охоту, как поп Егор «Отче наш». После я узнал стороной, что вот как я огорчил их этим письмом: они думали, что собака никуда не годится, и Бендрышев их обманул.

В первые же дни появления Верного на моем дворе характер Ярика очень переменился. По гордости своей он решил не показывать виду, что ему неприятно общество Верного. Даже когда я беру ружье, и Верный скачет вокруг меня, Ярик лежит себе жерновком и вида не показывает, что ему хочется на охоту. А между тем сам очень страдает, и стоит только мне позвать его, как бросается со всех ног и оттирает Верного. Раньше он был большой неряха, и когда ему дашь кость, то хорошенько ее выгрызет, а что потверже, похуже, бросит. Теперь из опасения, что остаток достанется Верному, лежит возле пищи и, если Верный близко подходит, рычит. Позовешь к себе, идет с костью в зубах, нужно выйти до ветру — все с костью идет и делает. С тревогой наблюдал я, как изо дня в день Ярик искал повода сцепиться с Верным, и очень боялся этого, потому что по старому опыту знал характер таких сиротливых и добрых собак, как Верный: терпит, терпит, зато уж как возьмется, так доведет войну до конца.

Однажды у нас на дворе полоскали белье и оставили корыто с подсинькой. Ярик глодал кость возле

самого корыта, и когда оказалось, что одну пластинку ему не разгрызть, подсунул ее под корыто, чтобы Верный не заметил. В это время я кликнул Верного на охоту. Ярика это, конечно, больно укололо, но вида он не подал и затаил злобу на Верного. И уж само собой, такой умница и хитрец, Ярик отлично знал, что когда зовут на охоту, тут не до кости. Между тем Верный побежал именно по тому самому месту, где была запрятана кость, и Ярику был отличный повод, не обнаруживая ревности, броситься на Верного, будто бы из-за кости. Он сделал это с такой силой и ловкостью, что Верный, вообще плохо владеющий своим деревянным задом, грохнулся спиной в корыто с подсинькой, ногами вверх, будто опрокинулась деревянная лошадка. Я понял так Верного, что ему, претерпевшему испытание дровами и страшные побои поленьями, вовсе не так уж зазорно было полежать секунду в подсиньке вверх ногами, или показаться хозяину мокрым, и боли он тоже не чувствовал, но ведь он же совсем не был виноват, он не за костью бежал: из-за чего же этот рыжий барин бросился, и не пора ли, наконец, с этим покончить и раз навсегда. И вот он, выскочив из корыта, во много раз сильнейший, бросился на Ярика.

Обыкновенно, когда силы очень неравны, слабейший при бурном натиске ложится на землю и перевертывается ногами вверх, сильнейший тогда наседает, но не грызет, а только рычит и, подержав порядочное время побежденного в таком положении, отпускает и где-нибудь поблизости у столбика или у дерева оставляет заметку, вернее всего с какими-нибудь условиями сожительства на будущее время. Побежденный, понюхав заметку, оставляет на том же месте свою: вероятно, просто расписывается. Редко я наблюдал, чтобы слабейший в своей расписке делал какие-нибудь оговорки, но когда это все-таки бывает, то сильней-

ший делает новую заметку, и слабейший потом расписывается окончательно.

Но можно ли себе представить, чтобы такой гордец, Ярик, вдруг взял бы и перевернулся вверх брюхом,— конечно, он бросился в бой и первое время грызся с большим успехом.

Не помня себя от страха за Ярика, я бросился сначала к корыту и вылил всю синюю жидкость на сцепленные разъяренные морды,—ничего это не помогло. Тогда я схватил Верного за хвост и, дав ногой Ярику в грудь, отволок черного, но тем сильней рванулся рыжий и вцепился в него. Я схватил за хвост Ярика, оттащил его, еще хуже: Верный впился в Ярика и еще бы немного как-нибудь ближе бы к горлу, и Ярику был бы конец. Но как раз в эту роковую минуту прибежали мои ребята и растащили противников за хвосты.

Верный по своему характеру не помнил зла, но Ярик пошел теперь в открытую вражду, и на дворе нашем жизнь стала совсем невозможная. Пришлось собак разделить, но ведь как усмотришь; стало на душе беспокойно.

Однажды в сентябре, когда можно было быть совершенно уверенным, что в лесу не найдешь тетеревиной матки с молоденькими, я попробовал поохотиться в лесу с Яриком, и мне это удалось хорошо: Ярик работал прекрасно. Обрадованный успехом моего приема исправить собаку спокойной работой из-под другой собаки, а может быть просто потому, что было жарко, и я устал, только придя домой, я забыл про Верного и оставил Ярика на том же дворе.

Во время обеда вдруг мы услыхали ужасное рычание под окном и, глянув туда, увидели, как оба врага медленно подступают с поднятой шерстью.

Тут малейшее движение с нашей стороны, крик, и оба непременно бросятся в бой: мы сидим, затаив

дыхание, в надежде, что как-нибудь обойдется, рассчитываем, что Ярик сегодня удовлетворен охотой, а Верный вообще добрейший пес.

С грозно поднятой шерстью Ярик подошел к Верному вплотную: тот не рычал, но мрачно ждал, что будет дальше. Ярик делает вокруг Верного медленный обход, подходит к стене и оставляет на ней свою первую заметку, вероятно, условие договора. В это время крайне осторожно подходит к Ярику Верный и пока тот пишет заявление, обнюхивает у него основание хвоста. Потом, прочитав написанное на стене, Верный делает какие-то свои поправки, а Ярик нюхает основание хвоста Верного, Ярик согласен, расписывается, после чего Верный, сделав полукруг, в последний раз окончательно подписывает бумагу, что в сущности у них, вероятно, означает ратификацию мирного договора.

С тех пор у нас мир на дворе и на охоте строгое разделение обязанностей: Верный больше по лесу и в лесу по крепким местам с колокольчиком на тетеревей, белых куропаток и на осенних жирных вальдшненов, Ярик по болоту на бекасов, дупелей, в поле на серых куропаток; в лесу же я спокоен с ним только на видных местах, в редких кустарниках, на опушках и полянках.

КЭТ

Кэт — собака от премированных родителей, хорошо известных всем знатокам собак. Порода ее современная, лягавая *континенталь*. Рубашка у Кэт двухцветная, на спине два седла, остальное все по белому как бы кофейные зерна рассыпаны.

Это я переименовал ее в Кэт, а у ее хозяев она звалась Китти. Владельцы собаки были интеллигентные молодожены. Первые два года у них не было детей, и Китти заменяла им ребеночка. Все два года

она лежала у них на диване в Москве. Еще бы немного, и охотничья собака прекрасной породы превратилась бы в бесполезную изнеженную фаворитку. Но к концу второго года молодой женщине стало трудно спускаться и подниматься с собакой на пятый этаж, а муж весь день был на службе. В это время у меня случилось несчастие с Верным—его искусала бешеная собака, и мне было бы теперь слишком тяжело рассказывать, как пришлось с ним расстаться. Узнав о лягавой, я, все-таки недовольный своим слишком горячим Яриком, решил заняться этой собакой, уговорил хозяев, они недорого мне ее продали и, всплакнув, просили никогда не бить.

Я слышал от опытных дрессировщиков, что двухлетний возраст для натаски не беда, лишь бы только собака была не тронута неумелой рукой. А Кэт была до того не испорчена, что даже за птичками не гонялась, охотилась вначале только за цветами: на ходу очень любила скусить и высоко подбросить венчик ромашки. Свойство ее породы — исключительная вежливость и понятливость, и хорошо было, что она самка: сучка всегда умней. Все, что называется *комнатной дрессировкой*, я проделал с ней почти что в один день. Я положил на пол белого хлеба, и, когда собака сунулась было к нему, я с громким криком «тубо» угостил ее щелчком.

— Это тебе, — говорю, — не в Москве на диване лежать.

В четверть часа я не только научил ее не хватать пищи без позволения, а даже не трогать кусочек, если он лежал на носу.

Потом я выучил ее *вперед и назад*, действуя исключительно только повышением голоса, *ищи*, *сюда*, *тише*, *к ноге*. На другой день я учил собаку в густом орешнике, где не было никакой дичи: я прятался в кустах, она меня разыскивала, и так в один день я научил

ее короткому лесному поиску. В поле, конечно, не сразу далось: я ходил, как яхта против ветра, галсами, движением руки или легким посвистыванием заставлял ее делать то же самое. Дня три я так ходил, и, наконец, все необходимое для начала натаски по живой дичи было сделано.

Я повел Кэт в натаску на болото, когда бекасы и дупеля еще не высыпали из крепких мест в открытые, и там были только молодые чибисы. Написано совершенно неверно в охотничьих руководствах, что будто бы чибис плохой материал для натаски: я не знаю лучшего. Правда, горячих собак старые чибисы несколько волнуют, но их легко разогнать выстрелами, зато уж молодой лежит рыжей лепешкой до того крепко, что очень легко ногой наступить.

Кэт по началу не чуяла этих лепешек, я нашел сам, сковырнул, лепешка сделалась чибисом, и он, не умея еще летать, заковылял между кочками. Сказав *умри*, я уложил собаку, но позволил ей провожать глазами чибиса, пока он опять не залег между кочками лепешкой.

— Тихо, вперед!

И Кэт пошла, ужимаясь. Стойки не сделала, а только понюхала, и тот опять тронулся в ход. Я повернул голову собаки в другую сторону, чтобы она не видела, где снова заляжет чибис, сам же заметил и пустил искать против ветра галсами.

Ветру она не взяла, но нижним чутьем прихватила и принялась строчить, как на швейной машинке, пока не нашла. Стойки опять не было, опять она спихнула чибиса носом. Я проделал то же сто раз и ничего не добился: причуять по воздуху и остановиться собака не могла. Я ушел с болота в раздумьи: очень может быть, что собака за два года комнатной жизни в Москве потеряла природное чутье. Но может быть в новых условиях чутье возродится.

Ляхово болото, где я проделывал опыты с чибисами, от меня восемь верст. Мне невозможно было ходить туда часто и следить, когда появятся на чистых местах бекасы и дупеля. Но зато у себя, возле озера, в болотных зарослях, я нашел болотинку десятины в две, и Кэт сковырнула тут двух старых бекасов. По этим двум бекасам я и стал ежедневно натаскивать собаку. Все-таки и эта прогулка у меня отнимала утром часа два и притом каждый раз необходимо было переодеваться, потому что пролезать на болотинку надо было по очень топким местам. И досадно же было возвращаться всегда с одним и тем же результатом: Кэт, ковыряя в болоте, спугивала бекасов без всякой для себя пользы.

Однажды я взял с собой на болото ружье и убил одного из бекасов. Он свалился в крепь. Кэт его там разыскала, но совершенно так же, как молодого чибиса: крутилась до тех пор, пока уставилась в него носом в упор. Все-таки польза была от этого, что она познакомилась с запахом птицы, так что на другой день я мог рассчитывать на какое-нибудь новое достижение.

Муки творчества, я думаю, переживают не только поэты, в собачьих делах муки не меньше, и тоже вдруг ночью приходит в голову иногда ясная мысль, от которой потом начинаются новые пути в исканиях. Мне помнился ночью спор в журнале «Охотник» о жизни бекасов: одни писали, что самец бекас после оплодотворения самки не участвует в дальнейшей жизни семьи, другие, напротив, говорили, что бекас-самец часто держится возле гнезда. И вот я подумал о своих двух бекасах, что один был самец, а другая самка, и что тут вблизи должно быть у них непременно гнездо. Утром я с большим интересом иду на болотце. Кэт ковыряется, бекас вылетает, она добирает и горчит в одной точке. Раздвигаю болотную

траву и нахожу на кочке те пять бекасиных яиц, поражающих своей величиной относительно тела самого бекаса.

Хорошо, как хорошо. Я теперь буду ежедневно приучать собаку к стойке, буду непременно подводить на веревочке, разовью постепенно чутье, потом выведутся молодые бекасы, буду их ловить, прятать...

Как интересно было на другой день притти на это болото, но того, что случилось, я не ожидал. Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов двести, и вот как только вышла Кэт из кустов, самое большее, может быть, прошла шагов пятьдесят, значит, уже наверное на полтораста шагов, делает стойку, ведет, ближе, ближе, да как ведет-то: тяп, тяп своими тонкими ножками, как балерина. Сапожищи у меня конские, огромные, их сделал один безработный поп и так хозяйственно, что нужно на ногу целый дом тряпья навернуть. Она ступит, и слышно разве только, что капелька стукнет о воду. Я иду как мамонт. Из-за моего шума она останавливается, смотрит на меня страшно строго и только не говорит:

— Тише, тише, хозяин!

Шагов за пять она остановилась окончательно, я оглаживал ее, поощрял двинуться еще хоть немножечко, но дальше двинуться было невозможно: как только я хляпнул одним поповским сапогом, бекасиха вылетела.

Кэт взволновалась, казалось, говорила:

— Ах, ах, что такое случилось?

Но с места не двинулась. Я позволил ей осторожно подойти и понюхать гнездо.

Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил начало болотного сенокоса, и мне сказали, что это болотце тоже будут косить сегодня же вечером. Нельзя было попросить крестьян не трогать гнезда, их было много, и один непременно нашелся бы такой,

который нарочно бы и разорил, если бы я попросил. Я вернулся на болото, срезал несколько ивовых веток, воткнул их возле гнезда, и получился кустик. Я боялся только одного, что бекасиха испугается веток и бросит гнездо. Нет, на другой день Кэт повела меня по скошенному болоту совершенно так же, как и вчера, и остановилась возле скошенного кустика опять на пять шагов, и опять бекасиха вылетела.

Одновременно со мной, конечно, где-то в других местах натаскивали своих собак художник Борис Иванович и один доктор. У Бориса Ивановича был французский пойнтер, у Михаила Ивановича ирландская сука. Вот я позвал их к себе, будто бы просто чаю попить, побеседовать, а потом и завел их в болотце и показал...

Словом, я затрубил в трубу, счастье мое было так велико, что даже неловко было, и я говорил художнику:

— Вы очень умно сделали, Борис Иванович, что для натаски взяли пойнтера, видите, мой в три недели готов.

Доктору я говорил:

— Вы очень умно сделали, Михаил Иванович, что выбрали ирландского сеттера, поработаете, но зато потом уж собаку получите незаменимую.

Конечно, они мгновенно разнесли слух о моих необыкновенных способностях натаскивать собак, и в своем месте я стал знаменитостью.

Нет, молодые собачники, охотники, молодожены, поэты, не верьте никогда внезапному счастью, знайте, напротив, что иллюзия эта на самом деле есть величайший барьер на вашем пути, и вы должны не сидеть на нем, а перескочить. Неделю, не больше, я наслаждался идеальными стойками замечательно породистой Кэт...

Болотце, когда сено убрали, и прошло еще с неделю

времени, еще лучше позеленело, чем было, и раз, когда я пришел на него в чудесный серенький день, выглядело страшно аппетитно, казалось, вот, вот должен вылететь бекас. И он, правда, как только ступила Кэт, вылетел. Она на него не обратила никакого внимания. Потом вылетел у нее прямо из-под ноги совсем еще молодой бекасенок. Собака, не обращая внимания, вела к гнезду, как безумная. И другой молодой вылетел, и третий, и четвертый, пятый... Она все вела и вела. И так же, как раньше, стала мертво в пяти шагах от гнезда, а, когда я посмотрел, в гнезде были только скорлупки.

Я подумал, что гнездо пахнет сильнее самих бекасов, и выбросил скорлупки.

На другой день собака вела по кочке.

Уничтожаю кочку, складываю на месте гнезда сушь, зажигаю костер.

Собака сталкивает ногой молодых бекасов и ведет по кострищу.

Значит, все время с самого начала она работала только по памяти.

Значит, все было только *представление*.

Значит, собака не чует самую жизнь, а только ее представляет. Это не собака — друг и помощник охотника, не производительница живых чутистых щенков, это — собака-актриса.

Многие охотники в таких случаях щеголяют выстрелом. Я же решил попробовать уговорить ее прежних хозяев взять ее обратно, намекнув на обычный конец таких собак у охотников.

В день разрешения охоты я позабавился с ребятами стрельбою уток: это не моя охота. Через неделю ходил по тетеревиным выводкам — люблю, но не совсем. Я люблю стрелять самых поздних тетеревей, и когда собака останавливается на громадном от них расстоянии, сам соображаешь, как бы так зайти, что-

бы их встретить, и когда это удастся, то каждый убитый за десять летних считается.

Рябина все краснеет и краснеет. Стрижи давно улетели. Табунятся и ласточки. Скосили овсы. Пожелтели сверху донизу липы, а в болотах осины и березы. Было уже два легких морозца. Почернела ботва картофеля, и начался разрыв души у охотника: в лесу — те интересные черные тетерева, в болоте — жировые бекасы, в поле — серые куропатки.

Стараюсь все захватить, но сказали:

— Вчера Борис Иванович убил пролетного дупеля.

Тогда тетерева, куропатки — все брошено, и я за восемь верст в Ляховом болоте стерегу валовой пролет, и если сегодня два убито, а завтра три, говорю: *подсыпают*.

Вот однажды в самый разгар дупелиных высыпок мои ужасные сапоги поповской работы наконец-то растерли так мою ногу, что итти в болото было уже невозможно. Нанять лошадь во время рабочей поры и дорого и, главное, мне стыдно: такой уж я уродился, не могу *ехать на охоту*.

Денек задумался. В больших березах золотые гнезда. Такая грустная, такая жалкая подходит ко мне Кэт. Как она похудела!

Мне стало жалко хорошенькую собачку. Серые куропатки у нас прямо за двором на жнивье, и потому, что это так близко, я их за дичь не считаю, берегу, не стреляю. Но почему же не попробовать на них собаку и парочку не убить на жаркое?

Выхожу в поле в сандалиях. Ветерок дует как раз на меня. Пускаю Кэт, как яхту, галсами против ветра. На одном из первых галсов она схватила воздух, прыгнула в сторону и стала. Она постояла немного и грациозно, как балерина, прыгнула в другую сторону, опять стала и глядела все в одну точку. Потом она постояла и начала все это пространство между

мной и невидимой целью, бегая из стороны в сторону, срезать, как сыр, тонкими ломтиками. Когда, обнюхав, она поняла, что уже недалеко, вдруг повела совершенно так же, как тогда по пустому бекасиному гнезду.

Стала она, как мотор, вся дрожала, удерживаясь с трудом от искушения прыгнуть в самую точку запаха.

И вдруг! Знаете, с каким треском вылетает громадный, штук в тридцать, табунок серых куропаток? Я выстрелил и раз и два. Обе куропатки упали недалеко.

И она это *видела*.

Тогда-то, наконец, мне все стало ясно. Я натаскивал собаку в лесном болотце, окруженном кустами, где не было движения воздуха. Там она не могла понять, что от нее требуют и тыкалась носом в землю. Тут от сильного ветра у нее сразу пробудилось забитое Москвой уменье пользоваться чутьем.

Но раз она поняла по куропаткам, то непременно должна в открытом болоте взять бекасов и дупелей. Я совсем и забыл, что вышел в сандалиях, что с собой у меня нет и корочки хлеба. Да разве можно тут помнить! Прямо, как есть, я спешу, почти что бегу в Ляхово болото за восемь верст.

Первое испытание было в очень топком месте, так что собаке было по брюхо. Она повела верхом к темнеющей кругловинке. Это оказалось прошлогодней остожиной. Там поднялись сразу дупель и бекас. Я успел убить только дупеля. Но она разыскала и перемещенного бекаса. Я убил и бекаса. А потом все пошло и пошло.

Ляхово болото тянется на пять верст, а солнце спешит. Я до того дохожу, что прошу солнце хоть немножечко постоять, но бесчеловечное светило садится. Темнеет. Я уже и мушки не вижу, стреляю в наброс.

Потом я выхожу из болота на жнивье и чувствую страшную боль в ноге: жнивье впилось в мои раны, а сандалии давно и совершенно нечувствительно для меня потонули в болоте.

После больших и прекрасных охот в Ляхове мне случилось однажды зайти на ту болотинку-сцену, где Кэт когда-то давала свое, чуть не погубившее ее жизнь, представление. И вот какая у них оказывается память: ведь, опять подобралась и повела было по пустому месту. Но запах настоящего живого бекаса перебил у нее актерскую страсть и, бросив фигурничать, она повела в сторону по живому. Я не успел убить его на взлете, стал вилять за ним стволом до тех пор, пока в воздухе от этих виляний мне не представилась как бы трубочка, я ударил в эту трубочку, и бекас упал в крепь. В этот раз я, наконец, решился послать собаку принести, и скоро она явилась из заросли с бекасом во рту.

ЛЮБОВЬ ЯРИКА

Иногда я, отправляясь в лес с собакой, зарекаюсь не говорить с ней ничего человеческими словами и объясняться только глазами, движением руки, да в крайнем случае нечленораздельными звуками. Это не очень легко, но зато объяснение с животным в молчании заставляет напрягать внимание, и начинаешь понимать его душу как бы из себя самого. Так, мне кажется, я понял любовь Ярика и Кэт в их молчании больше, чем если бы они разговаривали, а я бы подслушивал.

Они встретились неважно. Он ее немного понюхал, ей не понравилось, он отошел и залег в углу. С этого часа у него переменился характер: рыжий

красавец с шестинедельного возраста привык получать от нас неразделенные ласки. Я не очеловечиваю животных, не идеализирую, у меня есть доказательства, что у охотничьих собак высшей породы связь с человеком в охоте сильнее голода: как бы ни был голоден Ярик, он бросает еду, если только завидит меня с ружьем. Нашу связь в охоте не может нарушить даже любовь в момент ее самого сильного животного напряжения. Было это вскоре после того, как мне доставили Кэт, у нее началась *пустовка*, и потому пришлось Ярика отправить в сарай к гончему Соловью. Не обращая внимания на болезнь Кэт, я продолжал ее натаскивать в лесу и болоте, потому что я жил вдали от деревни и мало было опасности встречи с другими собаками. Однажды, раздумывая о силе охотничьего инстинкта у собак, я решился на рискованный опыт и захватил с собой вместе с Кэт и Ярика. Это было опасно не только потому, что немецкая легавая могла в кустах повязаться с ирландским сеттером и дать ненужное мне потомство ублюдков, но главное, что Кэт уже второе поле проводила без натаски и, если пропустить еще одно, то собака уже наверное останется неученой. И все-таки, в задоре своих психологических раскопок в собачьей душе, я решился на опыт и пустил Ярика и Кэт сначала в поле, а потом в кустарники. В этот день я пережил несколько минут большого волнения, когда обе собаки, исчезнув в кустах, не вернулись. Я бросился вслед за ними, но не нашел их в том направлении, обегал весь предполагаемый круг — их не было, свистел, — не приходили. Тогда, потеряв равновесие, я носился по кустам без всякого расчета, проклиная свою рискованную затею. К счастью, пестрая, кофейнобелая рубашка немецкой легавой мелькнула, наконец, перед моими бегающими в волнении глазами и по ней уже я открыл и Ярика. С безумно устремленными на невиди-

мых в траве птиц глазами, Ярик стоял, как бронзовый, а за ним, еще ничего не понимая в охоте, в полном недоумении стояла Кэт и роняла на траву и лесные цветы алые густые капельки крови. А ведь у них было довольно времени, чтобы подготовить мне встречу совершенно другую. Значит, моя правда: охотничьи собаки потому и охотничьи, что искусство, от которого они ничего себе не получают, им дороже самой могучей, приводящей весь мир в движение, страсти.

После этого опыта я возвращался домой счастливый, и он дает мне смелость признаться: я тоже раз в жизни упустил свою Кэт, устремленный страстью своей к какой-то невидимой цели. Теперь я счастлив узнать, что так бывает не только у людей, но и у животных высшей породы, и значит, в мире я не совсем одинок, — вот в этом, я так теперь понимаю, и состоит наше счастье, когда-нибудь, в какую-нибудь благословенную минутку почувствовать себя в мире не совсем одиноким.

Мне пришлось потом еще несколько дней продержать Ярика вместе с гончим в сарае, но я часто заходил к нему и ласкал, называя совсем другим, человеческим, именем, и Кэт ласкал, называя просто Катюшей. Это мое собственное изобретение — двойные собачьи имена, одно на работе, другое дома, одно для безусловного повиновения, другое, позволяющее иногда собаке быть деспотом своего господина. Да, попробуйте-ка удержаться в роли строгого дрессировщика, когда Ярик сфинксом, сложив крестиком передние лапы, разляжется на окне, и в солнечных лучах его красная шерсть светится непередаваемыми нынешними художниками, какими-то тициановскими тонами. В эту минуту я говорю ему почему-то:

— Кирюша, дорогой мой!

Он и не тронется, напротив, отлично понимая, что

я наслаждаюсь его красотой, еще крепче застынет в своей гордой позе.

А если я скажу даже совсем тихо:

— Ярик!

Он делает что-то с ушами, умиляется, разрушает великолепные крестики своих лап и, постукивая, начинает своим волосатым хвостом подметать пол.

После опыта в лесу во время пустовки Кэт у нас с Яриком было большое человеческое объяснение в сарае, но я заметил по его гордой манере как бы некоторый налет отчужденности. И потом, когда пустовка окончилась, и я ввел его опять в дом, он стал держаться иначе. Вот наливается в собачью чашку суп. Этот знакомый звук привлекает Кэт, и она стоит в ожидании, мелькая своим обрубком. Раньше, бывало, и Ярик спешил, а теперь он лежит в углу, не обращая на звук никакого внимания: он очень горд и не хочет соваться. В этом он доходит до того, что неохотно и подымается, когда его прямо зовешь обедать. И когда мы обедаем, бывало, прежде Ярик дежурил в ожидании лакомого кусочка, теперь он лежит под столом, а Кэт дежурит и так напряженно следит за всем, что даже противно, возьмешь и прогонишь. Но Ярик и в отсутствие Кэт никогда уж не займет прежнего своего положения возле стола. И мы понимаем дома все, что Ярик не прежний Ярик, что он никогда не простит нам появления Кэт.

Когда наступило время охоты, у меня явилась заминка в отношении Кэт, я не понял ее способностей и охотился с Яриком. Снова Ярик занял прежнее положение, являлся первый по звуку наливаемой пищи, сидел у стола во время обеда, а Кэт сзади его мотала обрубком и так неприятно-умно глядела, что часто получала от нас: «на место!» В конце осени вдруг Кэт на охоте взяла такое первенство, что с Яриком ходить мне стало неинтересно. Меня очаровала спо-

койная, умная работа немецкой легавой. Я решил перейти вообще на легавых и непременно получить от Кэт щенков. В этой местности для моей Кэт подходящим супругом мог быть только Джек, принадлежащий одному художнику. Во время дупелиного пролета мы решили познакомить собак, попробовать, как они будут ходить. И все вышло прекрасно. Мы часто, забывая готовить ружья для выстрела, любовались, как расходились умные собаки для поиска, сходились, опять расходились и останавливались на следах, потом подводили, стояли неподвижно и оглядывались на нас торопя, когда, любуясь, мы не спешили. После охоты мы варили себе на берегу болота чай и беседовали о будущем потомстве немецких легавых континенталь. Собаки, уморенные, свернулись калачиками. Они могли спокойно спать и не волновались, как люди, вопросами о бытии божием: мы были их боги, и судьба их была в наших руках.

Раз мы с ребятами в доме остались одни, и, когда Кэт начала свою игру с Яриком, мы разрешили собакам бегать вокруг стола, валять стулья, вскакивать на диван, не пожалели скатерть, сдернутую со стола вместе с чашками, не удержали собак даже, когда они, разгоряченные, принялись лакать воду из чистого ведра. Безумие собак и нас увлекло, и мы решили досмотреть игру до конца. Первое время Ярик, когда страсть его переходила законные границы, бросался на пол и ложился вверх брюхом, Кэт ложится на него, и до того его наломает, натормошит, что он, совсем обессиленный, лежит, свесив язык, и хахает. Но вот ловкая, тонкая, как змея, неистощимая в придумках Кэт выводит его совсем из себя, он вдруг вскакивает, бросается к ней, крепко охватывает ее шею лапами, а сам перемещается. На мгновенье она задумывается и вдруг, оскалив зубы, с рычанием кидается на него

и больно кусает. Опустив хвост, Ярик весь какой-то жалкий, помятый ложится на свой матрасик и с темными пятнами вокруг своих человеческих глаз долго, не отрываясь, глядит на ножку стула.

На следующий день он ей не отвечает на ласки, она пристает, он глухо рычит, она не обращает внимания на рык, — прыгает через него, хватает за уши, за хвост, теребит его лапами так, что летит рыжая шерсть. У Ярика есть такой затаенный прием ловить кусочек, когда мы, балуясь, подвешиваем его на нитку и делаем в воздухе недалеко от его пасти разные фигуры: он как будто не обращает внимания, а сам долго вымеряет, рассчитывает и, внезапно бросаясь, всегда безошибочно ловит. Так и в игре с Кэт он вдруг бросился, все рассчитав верно и упустив только одно, что никогда он не может получить, если время еще не пришло. Он получил хороший укус. И какое унижение для такой гордой собаки: лезет, несмотря на острые зубы, еще получает и опять лезет. Но, конечно, она заставила его вернуться в свой угол, и тут он опомнился и увидел наверно сам себя простым кобелем, жалким, искусанным, обиженным. До вечера он зализывает свои раны, а ночью ходит из угла в угол. Просыпаясь, я думаю, что ему надо выйти, выпускаю, он возвращается и опять начинает ходить. Сквозь тонкий сон я до утра слышу, как по сухому гулкому полу стучат его коготки.

Утром я замечаю у Кэт известные признаки, записываю число и увожу Ярика в сарай к гончей. Потом все совершается точно по рациональному руководству ухода за породистыми собаками. На одиннадцатый день явился ко мне Борис Иванович с Джеком, и мы повязали его с Кэт. Эта любовь, как мы заметили по часам, продолжалась пятнадцать минут.

Зима держалась утренними и вечерними морозами. Ночью все подваливал снег, — но с нашей горы ветер

сдувал снежную пыль, и на солнце гора наша сверкала ослепительно чистым серебром. Громоздились новые летние облака над снегами, в лесах просвечивает голубое небо, вороны орут не помня себя, синички все до одной поют брачным голосом, на лисьих следах показалась менструальная кровь.

Из шестидесяти трех дней собачьего плодоношения приходят последние. Даже самые маленькие верхние сосцы Кэт заметно набухли, и все вместе стали грядочками, мало-по-малу принимая чудесный вид сосцов сказочной волчицы, вспоившей Ромула и Рема. Кэт не становилась безобразной, как люди, даже в самые свои последние дни, потому что все ее тяжелое было внизу, и там, у земли, это было на месте и хорошо. Мы накупили много говяжьих костей, варили прекрасный бульон и, смешивая с овсянкой, давали ей сколько она пожелает. Но всего поесть она никогда не могла. После нее из-под лавки появляется Ярик, очень осторожно подходит и доедает: он вообще както стушевался, осмирнел. Весь день он в львиной позе, сложив передние лапы крестиком, лежит на окне в лучах весеннего солнца и мечтает, вероятно, о близких уже днях весеннего перелета птиц. Я тоже много сижу у окна и очень часто, совсем не думая о Ярике, вместе с ним одинаково повертываю голову в ту и другую сторону, смотря по событиям в снегах за окном. Я задумываю новый план дрессировки собак, чтобы вся учеба проходила в полном молчании, чтобы все объяснения были бы только глазами и движениями рук. Вот если этого достигнуть, то можно приблизиться к совершенному пониманию их души прямо из себя самого. Тогда я может быть научусь и любовь их понимать и буду рассказывать о чувствах Ярика во время беременности Кэт так же, как Толстой рассказывал о Китти и Левине.

Пока я такое разное и множество еще всего думал,

повертывая голову вместе с Яриком за переходящими голубыми тенями кучевых облаков на снегах, Кэт разыскивала меня по комнатам и, увидев у окна, подбежала и легла. Она что-то просит. Я иду, она вскакивает и бежит к двери. Выпускаю, она быстро оправляется и назад. Я не догадываюсь и остаюсь несколько времени один на дворе, а когда возвращаюсь домой, то сразу же обращаю внимание на какие-то особенные звуки в комнате Кэт: она там громко беспрерывно лакает и лижет. А когда я вошел к ней, то увидел возле нее маленькую новую слепую собаку с совершенно такими же, как у нее, по белому кофейными пятнами. Нам не нужно было ей помогать, она делала все сама языком, откусывала, проглатывала и так хорошо вычищала, что щенятки в белых местах сияли, как самый первый снег. Все шло так благополучно, только на пятом белки ее глаз стали голубыми, она обессилела и повалилась. Но мы дали ей немного вина, и она родила последнего, шестого, и это был, к счастью, ожидаемый Рем. Нам особенно нужны были кобельки, и их родилось только два — Ромул и Рем.

Проходит несколько минут самоакушерства, мытья, и вот все готово, нигде нет ни малейшего пятнышка. Чисто вымытые слепые дети друг через друга с писком ползут, знают, куда, находят, присасываются. Теперь, друзья жизни, идите, смотрите молча в эти глаза матери, об этом нельзя говорить...

Так мы смотрели, и вдруг все изменилось: мать дрогнула, лютой злобой загорелись глаза, ощетинилась шерсть от шеи до хвоста. Мы оглянулись и увидели в дверях рыжую голову Ярика: он тоже захотел посмотреть. Еще хорошо, что он успел повернуться, и она впилась ему не в горло, а в зад. Он бежал с визгом, она преследовала его до кухни. Потом вернулась, легла и мелко, мелко дрожала до самого вечера.

К нам приехали гости, за чаем я рассказывал о собачьей любви, как Ярик тогда, в первую пустовку, стоял по невидимой дичи, не обращая внимания, что Кэт роняла на траву густые капельки крови, как зимой они целый месяц играли, и о Джеке рассказал, и об этой непонятной злобе Кэт, когда Ярик тоже захотел посмотреть и просунул в дверь свою рыжую голову.

— Почему непонятной? — сказала одна дама, очень опытная в любви, — будь у меня такой Ярик, я бы его в клочки разорвала.

— Но ведь он же не виноват, — ответил я, — ведь это мы, боги собачьи, дали иной ход любви и заменили Ярика Джеком.

— Боги тоже ошибаются, — сказала дама, — у него был такой прекрасный случай в кустах, а он дураком простоял по невидимой цели.

АНЧАР

Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам и самому быть, как собака. У меня было так: пущу, а сам чай кипятить, не спешу даже когда и подымет: пью чай, слушаю, и как пойму гон, перехватываю, становлюсь на место — раз! и готово.

Я так люблю.

Была у меня такая собака Анчар. Теперь в Алексеевой сече, откуда лощина ведет на вырубку, — в этой лощине над его могилой лесная шишига стоит...

Не я выходил Анчара. Привел раз мне один мужичок гончую, был это рослый, статный кобель и на глазах очки. Спрашиваю:

— Краденый?

— Краденый, — говорит, — только давно было,

зять щенком из питомника украл, теперь за это ничего не будет. Чистая порода...

— Породу, — говорю, — сам понимаю, а как гоняет?

— Здорово.

Пошли пробовать.

И только вышли из деревни в завору, пустили, поминай, как звали, только по седой узорке след остался зеленый...

В лесу этот мужичок говорит мне:

— Я что-то озяб, давай грудок разведем.

«Так не бывает», — думаю, — «не смеется ли он надо мной?»

Нет, не смеется, собирает дрова, поджигает, садится.

— А как же, — спрашиваю, — собака?

— Ты, — говорит, — молод, я стар, ты не видал такого, я тебя научу: о собаке не беспокойся, она свое дело знает, ей дано искать, а мы будем чай пить. И ухмыляется.

Выпили мы по чашке.

— Бам!

Я так и рванулся.

Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку.

— Послушаем, — говорит, — что он поднял.

Слушаем.

Густо лает, редко и хлестко гонит. Мужичок понял:

— Лисицу мчит.

Мы по чашке выпили, а тот уж версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает:

— Там у вас коров пасут?

И верно, в этой стороне пасут карачуновские.

— Это она его в коровий след завела, теперь он добирать будет. Выпьем еще по одной.

Но недолго пришлось отдохнуть лисице, опять схва-

тил свежий след и закружил на малых кругах, видно, была местная. И как на малых кругах пошел, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит:

— Ну, теперь надо поспешать.

Бросились перехватывать на полянку перед лисьими норами. Только расставились, и она тут на поляне, и кобель у нее на хвосте. Трубой она ему показала в болото, он же не поверил — тяп! за шею, она — вию! и готово: лисица, — и он рядом ложится, лапу зализывать.

Его звали глупо: «Гончар», я же на радости крикнул:

— Анчар!

И так пошло после: Анчар и Анчар.

Сердце охотничье, вы знаете, как раскрывается? Знаете утро, когда мороз на траве и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит и мало-по-малу туман сдаляется, и близко то, что было туман, стало синим между зелеными елями и золотыми березками, да так вот и пошло все дальше и дальше синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно так открывается сердце охотничье: хлебнул мороза и солнца, чхнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом.

— Друг мой, — говорю мужичку, — по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаешь в чужие руки?

— Я в хорошие руки отдаю собаку, — сказал мужичок, — а беда моя крестьянская: корова зеленями морозцу хватила, раздулась и околела, корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину.

— Знаю, что нельзя, жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку?

— Корову же и прошу, у тебя две, отдай мне свою пеструю.

Отдал я за Анчара корову.

Эх, и была же у меня осень, в лесу не накликаю, не порскаю, не колю глаза сучьями, хожу себе тихо по дорожкам, любуясь, как изо дня в день золотеют деревья, бывает, рябцами займусь, намну тропок, насвистываю, и они ко мне по тропкам сами бегут. Так прошло золотое время, в одно крепко морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Рябчик на манок перестал отзываться. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц — ноябрь.

Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить, я люблю итти в лесу тихо с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверюшка меня за своего принимает, всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут, гамят и бьют все, что попадется. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник явится — люблю проводить его. другое это удовольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до-смерти рад. Так пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник, просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является.

И вот нужно же так: перед этим лег было славный зазимок и как раз под седьмое растаял: грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали.

До рассвета, при утренней звезде, мы чаю напились, наговорились, и когда заголубело в окне, вышли с Анчаром на русаков.

Озимый клин в эту осень начинался у самой де-

ревни, была озимь в ту осень густая, тугая, сочно зеленая, хоть сам ешь. И русак на этой озими так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял Анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошел прямым ходом на лежку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирается и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял Анчара, что он с зеленей пошел на вырубку, скорей на пустошь к лощине: с вырубки русаки непременно, это, лощиной бегут. На первое место я поставил приятеля, у края оврага, сам же стал по другой стороне, и ему не видно меня, а мне он весь, как на ладони.

План, конечно, и на охоте необходим, но только редко по плану приходится. Ждем, пождем, нет гона, и Анчар как провалился.

— Сережа, — кричу я...

Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника, вы все его знаете, ну, да, ведь, Сергеев у нас много.

— Сережа, — кричу я, — потруби Анчара.

Свой охотничий рог я ему отдал, он большой мастер трубить и любит. И только взялся Сережа за рог, гляжу — Анчар к нам бежит по лощине. Сразу я понял по его походке, он тем же самым следом бежит, и еще понял, что того русака лисица или сова перегнали с лежки, он прошел уже лощину, и Анчар его добирает. Вот когда он поровнялся с моим приятелем, гляжу тот поднимает ружье и прицеливается...

И ничего бы не было, если бы в ту минуту я вспомнил, что как раз с этого самого места раз я сам в человеческую голову целился и только вот чуть-чуть не убил: лощиной шел человек в заячьей шапке, мне была только шапка видна, и вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась. Мелькни мне

это в памяти, я понял бы, что сверху видна только шерсточка, крикнул бы и остановился. Но я подумал — приятель мой просто балуется, это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней.

Думал, шутит и вдруг — бац!

Было тихо, дым весь пал в лощину и все застелил.

Обмер я и сразу вспомнил, как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил.

Синий дым лег на зеленую лощину. Жду я, жду, и мгновенья проходят как годы, и нет Анчара, нет: из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, вижу, спит мой Анчар на траве вечным сном, на зеленой траве, как на постели.

С высоких деревьев на малые капают тяжелые осенние капли, с малых — на кустики, — с кустов — на траву, с травы — на землю: печальный шопоток стоит в лесу и стихает только у самой земли: тихо принимает в себя земля все слезы...

— А я на все сухими глазами смотрю...

«Ну, что же, — думаю, — бывает и хуже, и человека по случаю убивают».

Перегорелый я человек, скоро с собой справился, и уж стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю, поласковей с ним обойтись, знаю, ведь, не лучше ему, чем мне, и на то мы охотники, чтобы горе умывать радостью. В Цыганове самогонка живет в каждой избе, так я и решил: итти в Цыганово и все замыть. Сам думаю так, а сам смотрю на приятеля и удивляюсь: сошел вниз, поглядел на убитого Анчара, опять стал на место, и стоит себе, будто все еще гона ждет.

В чем же тут штука?

— Гон! — кричу.

Отозвался.

— Ты в кого стрелял?

Помолчал.

— В кого, — кричу, — ты стрелял?

Отвечает:

— В сову.

Оторвалось у меня сердце.

— Убил?

Отвечает:

— Промазал.

Сел я на камень и вдруг все понял.

— Серега! — кричу:

— Ну?

— Потруби Анчара.

Гляжу, схватился Серега за рог и остановился. Сделал шаг в мою сторону: видно, стыдно стало, шагнул другой раз и задумался.

— Ну же, кричу, — потруби.

Он опять берется за рог.

— Скорей, — кричу, — скорей!..

К губам рог приставляет.

— Да, ну же, ну...

И затрубил.

Сижу я на камне, слушаю, как приятель трубит, и страшной чепухой занимаюсь: вижу вот, как ворона за ястребом гонится и думаю, почему же он ей не даст по затылку, ему бы только раз тюкнуть. С такими думами можно на камне сколько угодно сидеть. И тут же колом стоит вопрос о самом человеке: почему ему нужен обман? Смерть есть конец, все кончается так просто и зачем-то всем надо трубить? Вот убита собака, никакой охоты у нас быть не может, и сам же он собаку застрелил и знает он, — человек я, не безделушка, с него не взыщу и слова попрека не скажу...

Кого он обманывает?

Это очень возможно, так часто бывает.

— Вот, — указываю, — иди ты по той тропинке, она тебя в Цыганово приведет, мы там с тобой выпьем, иди туда и потрубливай, все потрубливай, я же

буду в лесу ходить и слушать, не вякнет ли где-нибудь Анчар на трубу.

— Да, ты, — говорит, — возьми рог и сам труби.

— Нет, — отвечаю, не люблю я трубить, у меня от этого в ушах звук остается, ничего не слышу, а тут надо слушать малейшее.

Оробел он и спрашивает нерешительно:

А ты сам куда пойдешь?

Я показал в сторону, где Анчар лежит.

«Ну, думаю, деваться теперь ему некуда, сейчас признается». И вот нет же, говорит:

— В ту сторону я тебе итти не советую, там и деревьев нет, на кусту он не может повеситься.

— Хорошо, — отвечаю, — я вон, туда пойду. А ты, пожалуйста, не забывай, все потрубливай и потрубливай.

Как я сказал, что в другую сторону пойду, очень он обрадовался и затрубил и так ему надо версты три все трубить и трубить.

«Нет, говорю ему вслед, на живых началах много бывает чудес, а на мертвых концах чудес не случается: не отзовется Анчар. Оттого настоящий охотник смотрит прямо в глаза и говорит: выпьем, друг, все кончилось».

Да, кого он обманывает?

У меня за поясом всегда маленький топорик для всякого случая, отрубил я им конец у сушины, вытесал вроде лопаты и выкопал яму в мягкой земле. Уложил Анчарушку в яму, холмик насыпал, нарезал дерну, обложил. На гари был у меня примечен чортик из обгорелого дерева, в сумерках он очень наших баб пугает, и все зовут его шишигой. Сходил я на гарь, приволок эту шишигу, и поставил Анчару памятник.

Стою, любуюсь на чорта, а Сережа все трубит, трубит.

Кого ты, Сережа, обманываешь?

Моросит дождик, мелкий холодный. С высоких деревьев падают тяжелые капли на малые, с малых — на кусты, с кустов — на траву и с травы — на сырую землю. Во всем лесу шопоток стоит и выговаривает: мыши, мыши, мыши... Но тихо принимает в себя мать-земля все слезы и напивается ими, все напивается...

Стало мне так, будто все дороги на свете в один конец сошлись, и на самом конце стоит лесной чорт на собачьей могиле и с таким уважением на меня смотрит.

— Слушай чорт! — говорю, — слушай...

И сказал я речь над могилой и что сказал — потаю.

После того стало мне на душе спокойно, прихожу в Цыганово.

— Перестань, — говорю, — Сережа, трубить, все кончено, я все знаю. Кого ты обманываешь?

Он побелел.

Выпили мы с ним, заночевали в Цыганове. Охотника этого вы все знаете, у каждого из нас есть такой Сережа на памяти.

СМЕРТНЫЙ ПРОБЕГ

Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза! И до сих пор, когда в сумерках гляну издали на серую полосу леса, отчего-то становится не по себе. Зато уж как удастся утро с легким морозцем после пороши, так я рано, далеко до солнца, иду в лес и справляю свое рождество, до того прекрасное, какое, думается самому, никто никогда не справлял.

В этот раз недолго мне пришлось любоваться громадами снежных дворцов и слушать великую тишину.

Мой лисогон Соловей подал сигнал: как Соловей-разбойник зашипел, засвистел и, наконец, так гамкнул, что сразу наполнил всю тишину. Так он добирает по свежему следу зверя всегда этими странными звуками.

Пока он добирает, я спешу на поляну с тремя елями, там обыкновенно проходит лисица; становлюсь под зеленым шатром и смотрю в прогалочки. Вот он и погнал, нажимает, все ближе и ближе...

Она выскочила на поляну из частого ельника далековато, вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у нее такой прекрасный как будто совсем ненужный хвост? Показалось, будто улыбка была на ее злющем лице, мелькнул пушистый хвост, и нет больше красавицы.

Вылетел вслед Соловей тоже, как и она, рыжий, могучий и безумный: он помешался когда-то, увидев на белом снегу след коварной красавицы, и с тех пор на гону из доброго домашнего зверя становится самым диким, упорным и страшным. Его нельзя отозвать ни трубой, ни стрельбой. Он бежит и ревет изо всех сил, положив раз навсегда — погибнуть или взять. Его безумие так заражает охотника, что не раз случалось опомниться в темноте, верст за двадцать в засыпанном снегом неизвестном лесу.

След его и ее выходил из разных концов поляны. в густоте он бежал по чутью и тут, завидев след, пересек всю поляну и схватился след в след у той маленькой елочки, где она показала мне хвост. Еще остается небольшая надежда, что эта местная лисица, что вернется и будет здесь бегать на малых кругах. Но скоро лай уходит из слуха и больше не возвращается: чужая лисица ушла в родные края и не вернется.

Теперь начинается и мой гон, я буду итти, спешить по следу до тех пор, пока не услышу. Большей частью след идет опушками лесных полян и у лисы закруг-

ляется, а он сокращает. Стараюсь итти по прямому, и сам сокращаю, если возможно. В глазах у меня только следы и в голове одна только и мысль о следах: я тоже, как Соловей, на этот день маниак и тоже готов на все.

Вдруг на пути открывается целая дорога разных следов больше заячьих, и лисица туда в заячий путь. У нее двойной замысел: смазать свой след и соблазнить Соловья какой-нибудь свежей заячьей скидкой. Так оно и случилось. Вот свежая скидка и, кажется, под этим кустиком непременно белый лежит и поглядывает своими черными блестящими пуговками. Соловей метнулся. Неужели он бросит ее и погонится за несчастным зайчишкой?

Одинокий след ее с заячьей тропы бежит в болото, на край по молодому осиннику, изгрызанному зайцами, пересекает поляну и тут... здравствуй, Соловей! Его могучий след выбегает из леса, снова схватываются следы зверей и уходят в глубину в смертном пробеге.

Мне почудился на ходу вой Соловья. На мгновенье я останавливаюсь, ничего не слышу и думаю: так показалось. Тишина, и все мне кажется, будто свистят рябчики. А следы вышли в поле, солнце их все поголубило, и так через все большое поле голубеет дорога зверей.

Она, проворная, нырнула под нижнюю жердину изгороди и пошла дальше, а он попробовал, но не мог. Он пытался потом перескочить через изгородь. На верхней жердине остались два прохвата снега, сделанные его могучими лапами. Вот теперь я понимаю: это я не ослышался, это он, когда свалился с изгороди, с горя провыл мне и пустился в обход. Где уж он там выбрался, мне было не видно, только у границы ужасной горелицы следы снова сбегаются и уходят вместе в эти пропастные места.

Нет для гонца испытания больше этой горелицы. Тут когда-то тлела в огне торфяная земля, подымая громадных земляных медведей, и полегли деревья одно на другое и так лежат дикими ярусами, а снизу уже вновь поросло. Не только человеку, собаке, но тут все равно и ей не пройти. Это она сюда зашла для обмана и не надолго. Нырнула под дерево и оставила за собою нору, он же смахнул снег сверху и прервал хорьковый след на бревне. Вместе свалились, обманутые снежным пухом, в глубокую яму, и у нее скачок на второй ярус наваленных елей, перелаз на третий и потом ход по бревну до половины, и он продержался, но свалился потом в глубокую яму. Слышно, недалеко кто-то заготовляет дрова, тот, наверно, любовался спокойно, видел все, как звери один за другим вздымались и падали. Человеку невозможно пройти этим звериным пробегом. Я делаю круг по краю горелицы, и вот как тоскую, что не могу, как они.

Встретить выходные следы мне не пришлось. Я вдруг услышал со стороны казенника долгий жалобный заливистый вой. Бегу прямо на вой, гоню помогать, трудно мне дышать и жарко на морозе, как на экваторе.

Все мои усилия оказались лишними. Соловей справился сам и снова вышел из слуха. Но разобрать, почему он так долго и жалобно выл, мне интересно и надо. Большая дорога пересекает казенник. Я понимаю, она выбежала на эту дорогу, и по ее свежему следу прямо же проехали сани. Может быть, вот эти самые сани теперь и возвращаются, расписные сани, в них сваты, накрасив носы, едут с заиндевелыми бородами, за вином ездили? Соловей сюда выбежал на дорогу за лисицей. Но дорога не лес, там он все знает, куда лучше нас, от своих предков волков. Здесь дорога прошла много после, и разве может человек в

лесных делах так научить, как волки? Непонятна эта прямая человеческая линия и страшна бесконечность прямых. Он пробовал бежать в ту сторону, откуда выехали сваты за вином, все время поглядывая, не будет ли скидки. Так он долго бежал в ложную сторону, и бесконечность дороги, наконец, его испугала, тут он сел на край и завыл, звал человека раскрыть ему тайну дороги. Сколько времени я путался в горелице, а он все выл.

Верно, он просто вслепую бросился бежать в другую сторону. В одном краешке дороги осталось ее незатертое чирканье, тут он ободрился. А дальше она пробовала сделать скачок в сторону, и почему-то ей не понравилось, вернулась, и на снегу осталась небольшая дуга. По дуге Соловей тоже прошел, но дальше все было стерто: тут возвратились с вином сваты и затерли след Соловья. Может быть, и укрылось бы от меня, где она с дороги скинулась в куст, но Соловей рухнул туда всем своим грузом и сильно примял. А дальше на просеке вижу опять, смерть и живот схватились в два следа и помчались, сшибая с черных пней просеки белые шапочки.

Не долго они мчались по прямой — звери не любят прямого, опять все пошло целиной от поляны к поляне, от квартала в квартал.

Радостно я заметил в одном месте, как она уморенная пробовала посидеть и оставила тут свою лисью заметку.

И спроси теперь, ни за что не скажу, не найду приблизительно даже, где я настиг. Наконец, гон на малых кругах. Был высокий сосновый бор и потом сразу мелкая густель, с большими полянами. Тут везде следы пересекались, иногда на одной полянке по нескольку раз. Тут я услышал нажимающий гон: тут он кружил. Тогда моя сказка догадок окончилась, я больше не следопыт, а сам вступаю, как третий

и самый страшный, в этот безумный спор двух зверей.

Много нанесло снежных пушинок на планку моей бескурковки, отираю их пальцем и по ожогу догадываюсь, как сильно крепнет мороз. Из-за маленькой елки я увидел, наконец, как она тихо в густели ельника прошла в косых лучах солнца с раскрытым ртом. Снег от мороза начинает сильно скрипеть, но я теперь этого не боюсь, у нее больше силы нехватит кинуться в бег на большие версты, тут непременно она мне попадется на одном из малых кругов.

Она решилась выйти на поляну и перебежать к моей крайней елочке, язык у нее висел набоку, но глаза попрежнему были ужасающей злости, скрываясь в своей обыкновенной улыбке. Руки мои совсем ожглись в ожидании, но хоть бы они совсем примерзли к стальным стволам, ей не миновать бы мгновенной гибели! Но Соловей, сокращая путь, вдруг подозрил ее на поляне и бросился. Она встретила его сидя, и белые острые зубы и улыбку свою обернула прямо в его простейшую и страшную пасть. Много раз уж он бывал в таких острых зубах и по неделям лежал. Прямо взять ее он не может и схватит только, если она бросится в бег. Но это не конец. Она еще покажет ему ложную сторону взмахом прекрасного своего хвоста и еще раз нырнет в частый ельник, а там вот-вот и смеркнется.

Он орет. Дышат пасть в пасть. Оба вспотели, заледенели, заиндевели, и пар их тут же садится кристаллами.

Трудно мне подкрадываться по скрипящему снегу: какой, наверно, сильный мороз! Но ей не до слуха теперь: она все острит и острит через улыбку свои острые зубки. Нельзя и Соловью подозрить меня: только заметит и бросится, и что если она ему в горло наметилась?

Но я незаметный смотрю из-за еловой лапки и от меня до них теперь уж немного.

На боровых высоких соснах скользнул последний луч зимнего солнца, вспыхнули их красные стволы на миг, погасло все рождество и никто не сказал кротким голосом:

— Мир вам, родные, милые звери.

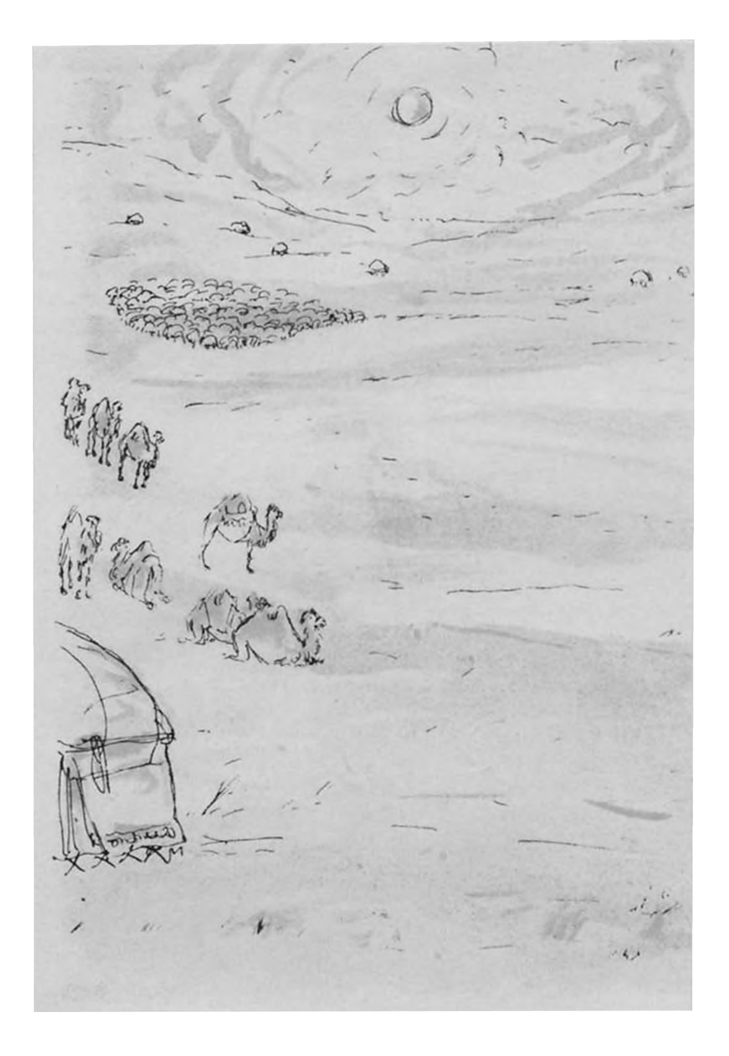
Тогда вдруг, будто сам дед-мороз щелкнул огромным орехом, и это было не тише, чем выстрел в лесу.

Все вдруг смешалось, мелькнул в воздухе прекрасный хвост, и далеко отлетел Соловей в неверную сторону. Вслед за дедом-морозом, точно такой же, только не круглый, а прямой, с перекатом, грянул мой выстрел.

Она сделала вид, будто мертвая, но я видел ее прижатые уши. Соловей бросился. Она впилась ему в щеку, но я сушиной отвалил ее, и он впился ей в спину, и валенком я наступил ей на шею, и в сердце ударил финским ножом. Она умерла, но зубы так и остались на валенке. Я разжал их стволами.

Всегда стыдно очнуться от безумия страсти, подвешивая на спину дряблого зайца. Но эта, взятая нами красавица, и убитая не отымала охоты, и ее, мертвую, дать бы волю Соловью, он бы еще ее долго трепал.

И так мы осмеркались в лесу.



ЧЕРНЫЙ АРАБ

Соленое озеро
Длинное ухо
Пегатый
Степной оборотень
Волки и овцы
Сопка маира
Черный араб

СОЛЕНОЕ ОЗЕРО

Прелестна киргизская поэма о Баян-Слу и Козу-Курпеч. Уже в утробе матери обрученная Баян разыскивает своего жениха, разбрасывая в степях и Алтайских предгорьях приметы: там она уронила запястье, там ленту, там черное перо из своего головного убора. Имена гор, долин, пастбищ, ручьев и колодцев в этом пустынном краю пастухов почти все сохраняют память о замечательной любовной истории, отразившей в себе древнейший колыбельный быт человека.

Я был очарован рассказами пастухов на берегу Иртыша и так захотелось мне ехать дальше и дальше в глубину средне-азиатских степей, читать эту великую поэму не по книгам, а по жизни самих пастухов.

Но я был тогда очень беден и не мог нанять себе кибитку...

— Вот едет вдова капитана, — сказали мне, — в маленький городок за шестьсот верст отсюда в степных горах, там Баян-Слу оставила черное перо.

Вдова, потеряв капитана, возвращалась к своей матери, она была молодая женщина, красивая...

Я был молод.

— Возьмите меня с собой, — сказал я, сняв шляпу.

Она осмотрела меня зелеными злыми глазами и сказала:

— А выдержите?

— Что?

— У меня масса вещей.

— Я все выдержу.

Мы сели в кибитку. Два киргиза начали выносить из домика вещи и заваливать нас. Мне легла на ноги сначала корзина, потом большая желтая коробка со шляпами, на шляпу поставили клетку с живыми плимутроками, привязали тут же гитару и парадную шпагу покойного капитана. Плимутроков я должен был придерживать рукой.

Да еще раз спросила:

— Выдержите?

Я ответил:

— Не беспокойтесь, сударыня, я все выдержу.

Киргиз айдакнул, хлестнул тройку своих диких степных коньков, и мы помчались.

Знаете, как ездят в степи? Все закружилось, впереди блестит соленое озеро, назади блестит соленое озеро, впереди белеет юрточка, назади осталась белая, как птица, впереди черная мусульманская могила и назади колеи, как две зеленые змеи, впереди и назади все одинаково и над всем открытое чистое солнце!

— Как хорошо! — крикнул я своей спутнице.

— Придерживайте гитару, — ответила она, — очень звенит.

Я осекся, но не надолго. Какая-то огромная птица поднялась с могилы и полетела куда-то далеко, осмотрела много места кругом, ничего не нашла: ни дерева, ни камня, ни могилы, где бы ей можно было присесть, и вернулась на старое место. Восхищенный этим величавым кругом птицы-хозяина, я забыл, что капитанша сердится, и спросил:

— Не знаете, какая это птица?

— Вам хочется болтать, — сказала спутница, — лучше подержите свободной рукой пальмы, а я пообедаю.

Мне прибавился еще горшок с маленькими пальмами.

Но задавленный вещами, я вначале их совершенно не чувствовал, и вот какой я был тогда человек, юный и непонятливый: конечно же, втайне меня волновала близость молодой, красивой женщины в пустынном краю, а я переводил это на птиц, на степь, на солнце и связывал все прекрасной поэмой о Баян-Слу.

Она же, наверно, все понимала.

Одной рукой я придерживал пальму, другой плимутроков и думал: «Как же я буду обедать, или она будет мне в рот класть кусочками». Между тем, она ела курицу и не обращала на меня никакого внимания. Я подумал: «Она поест, возьмет вещи и предложит мне». А она съела целую курицу, выпила вина и, как ни в чем не бывало, взяла назад пальмы.

Вещи стали невыносимо давить мои ноги, и много меньше занимала меня природа, только блестевшее впереди соленое озеро со страшными фиолетовыми краями занимало меня, и было мне, как безжизненный глаз убитого богатыря, жениха Баян-Слу.

Желая проверить хорошо мне известную поэму, я попросил ямщика рассказать, если он может, по-русски.

— Карыбай и Сарыбай, — начал киргиз, — охотились в горах. Карыбай сказал Сарыбаю:

— Сарыбай сказал, — поправила капитанша.

— Карыбай, — ответил ямщик.

— Карыбай, — поддержал я киргиза.

— А я говорю, Сарыбай.

И пошел спор, невозможно было слушать рассказ: ямщик говорит—Карыбай, она—Сарыбай, он—Сарыбай, она — Карыбай. Я даже вспотел и ужасно мне есть захотелось. Хлеб у меня где-то был еще, и оставалось крылышко курицы, с большим трудом я докопался до еды, и сколько раз она меня за это время допекала: «Да перестаньте же, наконец, возиться!» Я начинал ее ненавидеть.

— У вас есть немного соли? — спросил я, приступая к куриному крылышку.

— У меня много соли, — сказала она.

— Будьте добры...

— Да, так вот и буду я вам ворочать вещи из-за щепотки.

В это время дорога вдруг стала белая, будто снег напал, это была соль, мы подъезжали к самому соленому озеру.

— Стой! — крикнул я ямщику.

И, навалив на капитаншу корзину с плимутроками, гитару, шпагу, выдернул ноги из-под вещей, и, спустив их с кибитки, выпрыгнул в степь за солью. Но это были у меня уже не ноги мои, а что-то совершенно бескостное, мягкое, как бы резиновое и нечувствительное. Я, как мешок, рухнул и лег пластом.

Я лежал на страшном фиолетовом берегу соленого озера, а надо мной хохотала женщина с зелеными глазами, злая, как лисица в капкане.

Я отвел глаза от нее и смотрел на верблюда возле домика содержателя соленого озера, и понял я в эту минуту на всю жизнь его мудрую душу, отраженную в черных блестящих глазах, все на свете понимающих как-то по-своему.

И пошли пузырьки по моим ногам, от пяток кверху, как с донышка сельтерской воды, больше, больше. Я вскочил, сел в тележку, вымял себе, без всякой церемонии, сильными своими ногами место так, что от корзины со шляпами осталась только лепешка.

Капитанша окаменела.

Вечерело, и, как часто бывает в степи, после довольно знойного дня стало холоднеть, холоднеть, и вот уже при месяце на ковыле заблестели звездочки мороза. Я достал свою шубу из убитого мной когда-то медведя, прекрасную, теплую, кажется, единственное мое достояние, и хорошо завернулся. Капитанша была

в летней кофточке, и от того, что ей теперь нужно было держать вещи в обхват, почти до локтя руки у нее на морозе были голые.

Все-таки я предложил ей взять плимутроков, гитару и шпагу. Конечно, она ничего не ответила.

«Шут с ней», подумал я, и, обогретый теплой медвежьей шубой, отдался степным мечтам.

Можно было хорошо мечтать, — ведь, правда, трудно найти где-нибудь на земле место большое, на тысячи верст, определенное для одной поэмы о пастушке, разыскивающей своего жениха, здесь было начало и на том конце, за тысячу верст, стояла большая могила — конец. Там Баян хоронила своего жениха. С высоты этой могилы она клялась начальнику каравана, что будет женой всякого, кто осмелится броситься вниз с высоты этой могилы. Один за другим бросались юноши и все погибали, и все было, как в «Египетских ночах». А главное, что и сейчас тут люди кочуют со стадами, живут только одни пастухи.

И вот при месяце я вижу, идет караван, сарты в чалмах раскачиваются, — будто молятся звездам. Караван останавливается у колодца. Виднеются бронзовые профили, верблюды подгибают колени, ложатся, и звезды, такие большие низкие звезды пустыни, горят в их умных глазах.

Юная душа моя перелилась через край: я все на свете принимаю, — я все люблю, все обнимаю...

И вдруг вспомнилась эта женщина рядом со мной. Ай, какой же я маленький, — как я мог так... Я посмотрел в ее сторону, и вдруг у меня все перевернулось в душе: она сидела в своей летней кофточке, на морозе, все почернелая, вся дрожала, и слезы блестели при месяце.

Моя душа была взрывчатая, — я вдруг переменяюсь и решаюсь. Мгновенно я вылез, вытащил руки из

рукавов, быстро схватил плимутроков, пальмы, гитару, корзинку и еще и еще, все нашвырял на свое место и, рухнув сам, все покрыл своей теплой медвежьей шубою.

Теперь маленькие когда-то пальмы выросли до потолка, а я доживаю свой век, — есть ведь такая должность на свете! — содержателем соленого озера.

ДЛИННОЕ УХО

Ветер губит скалы и горы.
Слово губит племя Адама.
Степная пословица.

Сама родится новость в степи или прибежит из других стран — все равно: она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу.

Случается, джигит задремлет и опустит поводья, и вот-вот прозевает новость.

Нет! Лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится.

— Хабар бар? (Есть новости?)

— Бар! (Есть!)

Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей пустыни новость чахнет, как ковыль без воды.

И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ.

Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда — неизвестно. «Так, говорили, скорее доедешь: и сунулся бы кто поболтать, — нет: араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски». Я пустил этот слух, и вот побежало по Длинному уху:

«На пегатом коньке с лысинкой едет Черный араб из Мекки и молчит».

Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд.

Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко. Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом — и прощай!

— Хабар бар? — спросят дикие.

— Бар! — ответит подкованный.

И по-своему расскажет о Черном арабе и пегатом коньке.

Конь — по-своему. Я — по-своему.

Содержатель соленого озера — есть и такая должность — пустил слух из своего домика:

«Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей и тележка».

Скоро под окном кто-то постучал и сказал:

— Араб здесь?

— Здесь араб! — ответил я и выглянул в окно.

Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна — киргиз в широком халате и с нагайкой в руке.

— Что нужно? Откуда узнал о мне? — спросил я его.

— От Длинного уха, душа моя, — ответил этот киргиз и засмеялся.

Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ, лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня, глазки исчезли в узеньких щелках.

Мы долго чему-то смеялись.

У него все хорошо: и лошади, и тележка, и все кошемки, и все веревочки — все в лучшем виде.

— Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая,

масть вороная и саврасая. Чистые слова — говорил Исак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ.

— Чистые, чистые, — повторял я за ним.

— Ты, душа моя, верь мне, — просил он, — другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!», а я такой привычки не имею.

Мы скоро поладили.

Стали укладываться, собираясь в далекое странствование, за сотни верст от почтового тракта, по кочевым дорогам.

— Что, как убьют? — спросил я.

— За что убьют? — ответил Исак, — раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело!

И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошемки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком — в тележке. Карат и Кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на горизонте степные всадники. Длинное ухо насторожилось.

— Хабар бар? — спрашивают одни.

— Бар! — отвечают другие. — Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади.

Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись и стоят на берегу соленого озера, и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов.

Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому

желтому морю. Озеро — одно из тех обманчивых озер пустыни — блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями.

И вдруг будто сдунуло. Ни озера, ни птицы, ни верблюда — все будто рукой сняло.

Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками.

— Ка! — кличет ее по-своему Исак.

Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка, степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного, раздвоенным взглядом, угадывая: мы или не мы?

— Ка! — зову я собаку.

Не мы! Она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а впереди без конца дорога, как две змеи.

Она садится на сухую землю и воет.

— Ка! Ка! — кричим мы в последний раз и трогаем лошадей.

Собака бежит к нам покорная, навсегда наша. И по виду будто довольна и ничего с ней не случилось: не все ли равно, какому служить хозяину, впереди, как назади. Степь-пустыня везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не забудется за деревьями.

Свет и тишина... Собака бежит покорная. Но вой остался в пустыне, и раздвоенный взгляд остался. Длинное ухо услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина.

Пусто!

Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце?

Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу, от косточки к косточке, будто и указывает: вот для кого светит солнце в пустыне, — они тоже по-своему

жили и выли, и не дешево досталась пустыне ее светлая тишина с миражами.

К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца: не могут ли достать воду, или видят в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу?

— Алла, алла! — шепчет Исак, падая на халат и опять поднимаясь, и опять падая.

Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глазки к небу и замрет, сложив ладони.

Даже копчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исак будто и не заметил, и все стоит на халате, ладони попрежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой.

В синеве заколыхалась большая белая чалма.

— Алла, алла! — быстрее замолился Исак.

— Мулла едет? — спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку.

— Сарт на верблюде, — отвечает Исак.

И опять все сдунуло: не мулла, не сарт, а женщина джигит, повязанная белым платком, мчится на коне.

Она потеряла мальчика.

— Не видали ли мы ее мальчика? — спрашивает женщина.

— Мы никого не видали, — ответил Исак, — только вот пристала собака.

— Не ее ли эта собака?

— Нет! — ответила женщина, спросила что-то Исака, меня, посмотрела на лошадей.

— Она еще спрашивает, — перевел Исак: — не видали ли мы араба на пегатом коне, — не он ли унес ее мальчика?

Исак на это ответил:

— Араб сидит тут в тележке и курит, а Пегатый стоит у колодца.

Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила:

— Куда едет араб, зачем?

Исак объяснил ей:

— Араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а скорее всего *Албасты*, желтоволосая бесплодная женщина.

Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась.

Мне тоже захотелось сесть на своего Пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина.

И вот я — степной джигит. На голове у меня малахай из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги и сверх них тяжелые полуваленые полукожаные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой — повода. И весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду — киргиз, по слуху — араб, — еду и сею миражи.

Опять на горизонте показываются всадники Длинного уха. Два пустились мне наперерез. Но я их обману. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами Пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конек кипит. Степь оживает. Она не мертвая: она вся живая от конца до конца и вся поднимается, вся отвечает джигиту.

— Берге, джигит (сюда), — кричат назади.

Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге далеко позади; у одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исак.

— Хабар бар? — спрашивают они, когда мы съезжаемся.

— Бар! — отвечает Исак.

И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба, слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются.

— Ио-о! — восклицает один.

— Э! — отвечает другой.

Только и слышно, что «о» да «э».

Чуть было и о деле не забыли. Как же! Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу?

Нет! Мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели.

Но все-таки джигиты уезжают очень довольные: посмотрели на живого араба! Теперь, через десять лет, через двадцать, если они приедут на это место, называемое «Сломанное колесо», то вспомнят араба со всеми подробностями: что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на абу у Пегатого была лысинка.

Я поберег свою лошадку и сел опять к Исаку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи.

До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка *Закопанный колодец* нас остановили два джигита и долго говорили с Исаком.

— О чем говорили? — спросил я.

— Все о той же верблюдице, — ответил Исак.

Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени.

— Про что теперь говорили? — пытал я Исака.

— Да все про ту же верблюдицу, — ответил он. Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали: «Это оставила женщина, потерявшая мальчика». Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка.

Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся — признак близости озера. А когда, наконец, Исаку непременно нужно было омыться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами, пресному озеру.

Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-то его считали за бога. Исак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда каабе.

— Алла, алла! — падает он на халат.

Два последние всадника, рассказывавшие о волке и верблюдице, тоже сходят с коней. Там, где они — воды нет, но они отрутся землей вместо воды. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к нему руками то сольются с землей.

— Алла, алла!

Теперь вся степь расстилает халаты и шепчет: «Алла!» У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные.

Пока Исак молится, я хочу пройтись к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут, в этих зарослях, выводят гуси, ночуют дрофы; волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры —

южнее; но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко.

Тропинка сворачивает в другую сторону от Исака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда.

Слепая тропинка.

Какая-то незнакомая птичка насвистывает.

«Что это за птичка такая? — думаю я. — Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидать эту птичку». Итак я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам в сухих камышах пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички.

Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей.

Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца — черный купол степной могилы, высокий, как храм. Возле могилы движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и за ними степенно едет старик-пастух верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая:

— Чу!

— Берге! — кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исак.

Старик и бык услыхали.

— Чу! — крикнул старый на баранов.

Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом — бык и старик.

— Руки, ноги здоровы? — приветствую я по-киргизски старика.

— Амамба, — отвечает он.

— Скот здоров?

— Аман.

— А как твои руки и ноги и твой скот? — спрашивает меня старик по-своему.

— Амамба. Аман, — отвечаю я.

Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исак:

Глажу доброго быка между рогами и приговариваю:

— Джяксы, джяксы!

Старик смотрит в камыши с быка; увидал Исака, обрадовался, понял.

Глажу доброго старика и приговариваю:

— Джяксы, джяксы, аксакал, хороший, хороший старик.

И он, добрый, слезает.

А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исаку, как зовут в степи.

Исак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей. Машет рукой. Зовет к себе.

Я свищу на баранов.

— Чу! — кричу на быка. — Берге, — зову старика.

Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы, идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади — и так мы шествуем навстречу Исаку.

Недалеко, весь на виду аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались: старик бедный, в ауле грязно, а тут у озера хорошо, и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исаку, помогал нам собирать сухой помет, кизяк, для костра и очень благодарил за несколько кусков сахара и сухарей.

— Что он рассказывал? — спросил я потом Исака.

— Все про того же араба, — ответил Исак, — про женщину, потерявшую мальчика, и про верблюдицу. Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилась — нет мальчика; бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около же этого времени и верблюдица хватилась верблюжонка, заревела, и не помня себя, унеслась. За ней ускакали женщина и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов.

Исак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла Албасты, желтоволосая бесплодная женщина, не араб, а верблюжонка — волк. Старик будто бы, по словам Исака, под конец поверил и сказал:

— Йо-о, Худай![1] Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы, Аулье-Тау, за сотни верст, и великий Худай посылал им за это деток, а вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, Худай!

Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая:

— Ох, уж эти мне бесплодные женщины!

ПЕГАТЫЙ

> Одна моя птичка в одно мгновенье долетает до рая и в одно дыханье — до фариша.
>
> *Степная загадка.*

Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались

[1] Йо, Худай! — О, господи!

два козла. Старик угнал свое стадо в аул, а мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возились с лошадьми, воробьи слетелись к тележке: одни уселись спокойно на краю спинки, подставив груди красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя.

В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни, однако, постепенно стада ложились на землю. И вот, когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити, — такая она была большая и низкая.

— Чолпан! — сказал Исак, — пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходят утром кормиться. Самая хорошая наша звезда.

Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться — есть и третья, и четвертая.

Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия.

Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носка на кизяк. Зашипело. Исак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни, сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо с его большими пустынными низкими звездами, исчезло от маленького земного, но близкого нам пламени.

Исак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось.

Чай настоялся. Мы сидим с Исаком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай в прикуску из китайских чашек без блюдечек, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту.

— Что я могу сказать об этой звезде? — указал Исак кусочком сахара на небо.

— О какой? — спрашиваю я. — об этой? — и тоже своим кусочком сахара указываю на полярную звезду.

Исак мычит в знак согласия и кивает головой.

Что я могу сказать Исаку о полярной звезде? Да, она неподвижная.

— И по-нашему она неподвижная.

— И у нас и у вас одинаково! — удивляюсь я.

— Все это видно на небе с древних времен, — отвечает Исак — и у нас, и у вас, и везде одинаково. У нас она называется Железный кол.

— А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от Железного кола? — спрашивает опять Исак.

— Это две звезды в хвосте Малой медведицы; я о них ничего не знаю.

— Это два коня, Белый и Серый, — объясняет мне Исак, — оба привязаны за Железный кол и ходят

вокруг него, как Карат и Кулаг вокруг тележки. А эти семь больших звезд, — указывает Исак на Большую медведицу, — семь воров хотят украсть Белого и Серого коней, а они не даются и все ходят себе и ходят вокруг Железного кола. Когда семь воров поймают Белого и Серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат.

— А эта кучка звезд? — указываю я на Плеяды.

— Эта кучка звезд — овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются?

— Неужели и волк есть на небе?

— Да вон же волк, душа моя!

И показывает мне кусочком сахара волка на небе.

— На небе, как на земле! — говорю я, удивленный.

— Как в степи, — отвечает Исак: — вон и мать тоже ищет ребенка.

— Может быть, есть и араб?

— Э-э!

— И Длинное ухо?

— Э-э!

Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде, и по всему Млечному пути такая большая семейная радость.

Звезда у звезды спрашивает, как джигиты в степи:

— Хабар бар?

— Бар! Араб чай пьет под звездами.

Исак зажигает от кизяка сухую тростинку. Он хочет осветить в котелке и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует.

Котелок снят. Костер пылает. И неба со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи.

Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски: прямо руками, швыряя кости нашей собаке. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и Кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает. Поравняется с нами и укнет, и опять надолго пропадет, и опять укнет. Это птица Юзак, будто бы жених, потерявший невесту.

Сверкнул какой-то огонек, будто зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк!

Мы стреляем по огоньку: снопы красного огня летят в тьму. И на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле.

— Где лошади?

— Тут.

Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь. А месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды, — испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ребенка, и часть Птичьего пути. Остаются только самые крупные звезды.

Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушкой у меня малахай, в ногах — саптомы, сбоку — ружье, сверху — вторая теплая кошма. На стороне Исака кормятся Карат и Кулат, на моей Пегатый. Чуть что — нужно сбросить с себя кошму и выстрелом пугать волка.

Вот я теперь ясно вижу, как птица Юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами; вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается. Ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд.

Карат подошел и чешется о тележку.

— Чу, Карат! — кричит на него Исак.

Лошадь переходит на мою сторону к Пегатому. Теперь на моей стороне два коня. На небе четыре вора из семи, один за другим, медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть Белого и Серого коней у Железного кола.

«Отчего тут звезды такие большие и низкие?» — думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне — оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться?

— Чу, Кулат!

Открываю кошму. Третий конь переходит на мою сторону, а Пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами.

Не слишком ли далеко ушел Пегатый? Подняться? Холодно. Исак спит.

Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю: «Не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам?» Вот промчится желтое облако диких коней — и прощай Пегатый!

Хочу встать — не могу.

А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней; увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул крутую шею, искоса, одним глазом смотрит на хозяина возле тележки.

— Спит ли? — Спит!

Высоко сверкнули подковы над степью-пустыней.

От оазиса к оазису перебегают дикие кони. Останавливаются при встрече.

— Хабар бар? — спрашивают старые.

— Бар! — отвечают молодые. — У края степи, возле самой пустыни, спит Черный араб, а пегатый конек с лысинкой здесь.

— Это там, на простой земле, он пегатый и с лысинкой, — поправляют старые мудрые кони, — а здесь его имя пусть будет отныне и до века — гнедо-пегий конь с белой звездочкой.

СТЕПНОЙ ОБОРОТЕНЬ

Рамазан, девятый месяц лунного года, был на исходе. В ясное утро показались степные горы, как высокие синие палатки великанов-кочевников. Степь взволновалась, дорога стала неровной; ведро с водой, привязанное нами к дрожине, расплескалось и зазвенело.

— Это хребет земли, страна Арка — сказал Исак. Счастливая страна! Тут баранина жирная и кумыс пьяный, как вино, — лучшая в мире страна для пастухов.

Семь юрт у подножья горы, будто семь белых птиц, уснули и спрятали между крыльями головы. У колодца, обложенного камнями, сидит девушка и стрижет овец.

— Примет ли нас Джанас? — спрашиваем мы, как язычники спрашивали Авраама в земле Ханаанской.

— Примет...

Вот он сам, седой, старый, выходит из юрты с двумя сыновьями. Все трое одеты в шкуры молодых жеребят. Старик прикладывает руку к сердцу.

Руки здоровы. Ноги здоровы. Овцы здоровы, верблюды, кони — все здорово и у них, и у нас. Слава богу, аман!

Сыновья приподнимают войлочную дверцу юрты. Отец, кланяясь, просит войти; девушка со звонкими подвесками бежит к колодцу стричь овец.

В юрте пастухов — будто внутри воздушного шара, и даже есть вверху отверстие, которое можно открыть и закрыть.

Наверху круг еще синего неба; внизу на земле три черных, обожженных камня с рогулькой — очаг. За очагом, против входной двери, обращенной к каабе, устлано ковром место для гостя, а тут же, рядом с ковром, растет ковыль. Кругом все увешено.

Сам хозяин подает гостю воду омыть руки. Сыновья держат наготове полотенце. Один из них глядит на гостя острыми и дерзкими глазами; у другого больше заметны и кажутся почему-то добрыми его желтые босые ноги и растрепанная копна волос. Вспоминается из библии: Каин был земледельцем, Авель — пастух.

В степи еще солнце: когда войлочная дверца открывается и кто-нибудь входит, — слепит глаза, и потом долго плывут фиолетово-светящиеся склоны и огненные табуны. Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги у очага, войдет и сядет, и кажется, кто-то читает из большой древней книги: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Но приглядеться — они не все одинаковы: у одного, очень толстого, такая маленькая тюленья голова; у другого с губ висят черные крысиные хвостики; у третьего хвостики обкусаны; четвертый — поменьше всех и лицо медно-красное.

Они все сидят кругом от кровати до хомута и молча глядят и жуют.

Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, Черный араб. Длинное ухо от края до края разнесло о

нем весть. Едет из Мекки, но куда — неизвестно. И вот, наконец, попался.

— Куда едет араб?

Со всех сторон впиваются зоркие степные глаза. Где-то сверкает из полуоткрытого рта белый и острый зуб, будто готовится раскусить араба, посмотреть, что в нем. И вот уж один сел близко-близко, смотрит так долго и пристально, что усталый валится на подушку и храпит. Другой подвинулся...

Довольно миражей...

— Я — не араб!

— Йо-о! — воскликнул толстый с тюленьей головой.

— Йо! Алла! Он не араб! — заговорили другие.

И все разинули рты.

— Кто же он? Что ему нужно?

— Ему ничего не нужно, — объясняет Исак, — это ученый, он не берет от степи ничего: ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.

— Йо, Худай, — не дух ли это предков, а у р а х?

— Нет, он ест сухари, пьет чай, спрашивает о траве, о баранах, о звездах, о песнях, охотится, сам варит, ест как киргизы, руками, богу не молится...

— Шайтан! — шепчет толстый с крысиными хвостиками.

— И не шайтан, — уверяет Исак: — шайтаны злые, это ученый из Петербурга, добрый...

— У него не мягкий ли палец на правой руке? — спрашивает толстый с обкусанными крысиными хвостиками.

Это Хыдырь, святой, который является нищим: у него в большом пальце правой руки нет костей.

Смотрят на руку, трогают палец, — палец у меня твердый. Гость — не араб, не аурах, не шайтан, не святой.

Исак им объясняет и час и два; лица краснеют, глаза горят, но тайна Черного араба попрежнему не разгадана.

Все щелкнули языками.

— Джок! Нет, непонятно.

Входят в юрту новые и новые люди, все присаживаются к очагу, глядят, спрашивают и все щелкают языками и говорят:

— Джок! Нет, непонятно.

Чуть колышется войлок юрты: кто-то снаружи прокапывает в нем дырочку, и вот уже там блестит узкий и черный глаз. Посмотреть туда пристально — скроется; отвернуться — опять глядит. Нагляделся досыта, исчез; дырочка засветилась, как звезда. Теперь этот глаз наверно уже встретился со многими такими же узкими черными глазами. Там собрались все женщины, шепчутся, — и араб, как *степной оборотень*, превращается из мельчайшего, в булавочную головку, джинна — в ужасного Албасты. И кто знает? Быть может, тайна Черного араба сейчас тут же, в кустах чиевника, готова остановить поцелуи возлюбленных; быть может, бесплодная женщина, собираясь отправиться ночевать в святые горы, смутила свои чистые мысли?

Но все окончилось просто.

Кто-то спросил:

— Есть ли отец у гостя?

Все обрадовались простому вопросу и подвинулись.

— Есть отец.

— А мать?

— И мать есть, и братья, и сестры, и бабушка, и дедушка, все равно как и у вас в степи и как в священных книгах: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова.

— Все ли живы?

— Все живы и все живут в Петербурге.

— Ио! — радуется старик, похожий на Авраама.

— Сколько же там в Петербурге домов?

— Тысячи!

— О! — вырвался из открытых ртов общий радостный крик.

— А есть ли в Петербурге бараны? — спросил Авраам.

— Есть, но там не с курдюками, как в степи, а так.

— Как так?

— Без курдюков, с козлиными хвостиками.

Как искра, перелетела улыбка с губ переводчика внутрь этих открытых ртов с белыми, острыми зубами. Загорелись пороховые склады под широкими халатами, и наш воздушный шар будто лопнул и разорвался в клочки — так хохочут в степи!

Тот, уснувший на подушке, вскочил, протирает глаза, спрашивает, что случилось.

Ему отвечают:

— В Петербурге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками.

Он падает на подушку в судорогах, как подкошенный. Падают назад на спины, хватаясь за животы: и тонкий с медно-красным лицом, и толстобрюхий с крысиными хвостиками, и похожий на него другой толстый, и тот, что с тюленьей головой, и молодец с раздвоенной бородой, Авраам и даже Исаак. Приподнимутся, посмотрят на гостя и опять лягут, и колышут животами халата. Кто может, подвигается поближе и поглаживает добродушного, прежнего таинственного и страшного араба.

И слышно, звенят за тонкой стенкой монеты на косах. Не боятся возлюбленные в кустах чиевника. Не смущаются мыслями бесплодные женщины в святых горах. Он нестрашный, этот Черный араб, и будто жил он тут всегда, тысячи и тысячи лет.

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Старый козел просунул к нам в юрту свою бородатую и рогатую голову.

— Желает гость козла или барана? — спрашивает хозяин.

— Барана желает гость, — отвечает Исак.

— Молодого или старого?

— Молодого желает гость.

Старик просит прощения: летом было мало дождя,— молодые бараны сухи, но он попробует выбрать.

И уходит.

Ставят на три камня очага огромный черный железный казан, наливают в него ведрами воду, подкладывают в огонь шарики конского навоза. Готовятся к пиру.

Черноногий босой пастух на кровати запел о горбоносом баране, о госте, о какой-то долине с пятью тополями и о том, как они засыхали, и как осталась долина с одним сухим тополем.

Хозяин входит в юрту с бараном, просит гостей благословить.

Исак обеими ладонями проводит по своей бороде, строит благочестивые, умные глаза, шепчет, — и баран благословлен.

Мальчик на кровати все поет о горбоносом баране, болтая ногами, сочиняя без усилий стихи и позвякивая струнами домры.

Тот, что потоньше других и с медно-красным лицом, точит нож. Входит старая женщина и подкладывает в огонь навоз. Внизу, между камнями ярче горит огонь, вверху видно вечернее предзакатное небо.

Барана связали. Голову свесили в медный таз: кровь есть жизнь, ни одна капля не прольется на землю. Вылили кровь в таз, будто отвернули кран самовара. Темнел и темнел наверху круг неба. Маль-

чик на кровати пел. Из незакрытой двери виднелся бородатый козел, освещенный нашим костром. Блеснули звезды.

Толстый с тюленьей головой вырезал из груди барана четыреугольник, прямо с шерстью, и хотел растянуть его на рогульке и обжарить на огне. Но пока он приготовлял рогульку, мясо оттого, что в нем сокращались мускулы, зашевелилось.

Исак указал на это соседу, тот — своему соседу, и всю юрту обежало: «Мясо шевелится». Стали спорить, можно ли есть такое мясо? Вспомнили такой же случай с мясом зарезанного волком ягненка. Тогда мулла разрешил, значит, и теперь можно.

Толстый растянул мясо на рогульке и, обжигая, сказал:

— Теперь оно больше не будет прыгать.

Медно-красный отрезал голову барана и передал женщине. Она проткнула ее длинным железным вертелом и, повертывая на огне, обжигала шерсть. Когда голова совсем почернела, на нее из кувшина лили воду, а женщина протирала кость в струе, и ее пальцы скрипели, и голова барана все белела и белела.

Медно-красный разделил части и вынул внутренности. Собаки, почуяв мясо, просунули в юрту головы. Им вылили таз с кровью.

Просунулись женские руки — отдали кишки. Еще какой-то руке отдали легкое.

Наконец, красную тушу и белую голову опустили в черный котел. Кровь, огонь и вода соединились, пар и дым поднялись вверх, закрывая спокойные звезды.

Когда баран поспел, перед ковром поставили низкий круглый стол и все к нему подвинулись. Достали голову и, отрезав ухо — лучшую часть — предложили гостю съесть. Голову раздробили, мозг выбрали в особую чашку, накрошили туда лука, подлили из кот-

ла жижи, поочередно опустили руки в чашку, достали по горсточке, вкусно съели, смазывая жирными руками уздечки, нагайки и седла. Закусив, принялись за барана.

Целая гора мяса лежала на блюде; двое с крысиными усами резали мясо, отделяя куски от костей.

Другие подхватывали мясо руками, окунали в соленую воду и ели, не чавкая, будто глотая целиком. Очень торопились. Зубы сверкали. Кости белели и белели. Гора таяла. Собаки опять просунули головы в юрту.

А там, за юртой, из последних сил светил ущербленный девятый месяц лунного года. На степи были блестки мороза. Овцы, положив друг на друга головы, согреваясь от холода, плотной массой прижались к темным человеческим шатрам. Теперь где-нибудь в трещинах гор уже горели красные волчьи глаза, на сопках сверкали их серебряные спины. Но добрые пастухи охраняют своих овец: девушка-невеста всю ночь, чтобы не заснуть, поет песню.

Катятся вверху прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра, пастухи доедают овечку. Мяса уже нет, они возятся с белыми костями, раздробляя и вынимая мозг. Последние обрывки мяса, обрезки, все, что второпях падало на грязную скатерть, хозяин сгребает рукой и сует в ожидающие подачки руки совсем бедных людей. Ничего не пропадает: даже обглоданные и раздробленные кости, завязанные в ту же грязную скатерть, уносит женщина досасать и догрызть. Доев все дочиста, расходятся по своим юртам.

Мы, гости, приготовляясь к ночлегу, затушили остатки костра между обгорелыми камнями. В отверстие сверху влилась струя лунного света, забелело несколько забытых в юрте костей и череп возле котла. Спать легли на том самом месте, где только что пиро-

вали. Исак дернул за веревку. Отверстие вверху закрылось, и наша юрта, похожая на воздушный шар, казалось, полетела куда-то над степью. Девушка-невеста пела, пела над спящими стадами и уснула, а волки выходили из горных трещин в долину, ползли, прятали за сопками сверкающую серебром шерсть, горящие глаза. Крались к самым кустам чиевника возле самых юрт, подбирались и прыгали.

Всю долину будто рассекли длинным скрученным канатом — так крикнули в ауле. Но и сквозь лай, и гомон, и горловые крики был слышен тихий жалобный стон уносимого волками ягненка — и все дальше и дальше, и тише и тише.

Не сон — этот затихающий крик. Вот и Исак открыл дверцу юрты, смотрит в долину. Видно, как по верхушкам далеких сопок серебряной точкой мелькает волчья спина, а за нею, все отставая, мчатся черные точки собак. Весь аул на ногах. Медно-красный сидит с ружьем на коне. Ему показывают рукой на горы. Он кивает головой и обещает хозяину отмстить волкам.

— Сколько утащили волки? — спрашиваю я Исака.

— Трех, — отвечает он, засыпая, — трех молодых, и у старых оторвали шесть курдюков.

Девушку долго и зло бранили женщины. Когда же все улеглись, она опять запела над спящими стадами. Она поет, будто плещется при луне, переливаясь со скалы на скалу, горный ручей, а стада жуют и дышат, будто тысячи людей тихо идут по песку. Волки теперь уже не нападут. Но кто знает? Быть может, приедет в эту ночь новый гость, и опять пастухи утащат одну овечку и при красном свете костра растерзают. И она будет жертвой богам, охраняющим стадо.

Спят спокойно стада, прижавшись к человеческим жилищам. Зеленые волны девятого месяца лунного го-

да, прозрачные, не заслоняя звезд, катятся и катятся по небу под песнь девушки-невесты, стерегущей стадо.

Так от века было в долине Пестрой змеи.

Утром, когда мы проснулись, медно-красный охотник уже сидел у костра и рассказывал, как он страшно отмстил волкам: шесть убил и одного живым поймал в горной пещере. Живого волка он связал, снял шкуру, развязал, пустил, и он побежал.

— Ободранный? — изумился я.

— Ободранный, — ответил спокойно медно-красный, — ободранные волки немного могут бежать.

И рассказал всю свою ночную охоту.

При месяце в горах он увидел семь свежих следов. Сошел с лошади и стал итти по следам. Возле горы, где ловят беркутов, он увидал волка: то покажется, то спрячется. Это был караульный волк, а другие шесть, сытые, спали. Охотник поднялся на гору с другой стороны и посмотрел вниз из-за камня. Спал большой волк, как мертвый. Выстрелил, — волк вильнул хвостом и остался. Три пошли на эту сторону. Свистнул — остановились. Один сел и завыл, другой завыл, третий завыл, другие три волка отозвались, пришли к мертвому и тоже выли. И тут завыл охотник. Выл и стрелял, прячась за камнями, меняя места, выл и стрелял. Последний волк, слегка раненый, упал в горную щель. Тут-то поймал его охотник, ободрал и пустил, и он, черный, при месяце бежал версты три.

Так отмстил медно-красный волкам в долине Пестрой змеи.

— Йо-йо! — удивлялись другие.

— Джяксы, мергень! [1] — одобряли все.

И хохотали, и так весело хохотали, представляя, как бежал при месяце этот ободранный волк.

[1] Стрелок.

Исак дернул за веревку. Верхнее отверстие открылось, солнечный луч ворвался и осветил нашу юрту.

Мы стали собираться к отъезду, а хозяева — разбирать юрты для перекочевки. Пока мы укладывались, юрты были разобраны. Мы ехали дальше на летнее пастбище, они назад — к зимовкам. А на том месте, где они были, остались только черные обожженные камни и белые черепа.

СОПКА МАИРА

Авель стерег стада, Каин был земледелец.

Из книги Бытия.

Поздней осенью, перед самой зимой, степь опять зеленеет. Наверху журавлиный крик: птицы улетают на юг. Внизу блеют козлы и бараны: кочевники едут на зимнее стойбище.

Ветер, наш третий неизменный товарищ, отбегает за гору и встречает нас на той стороне: катит перекати-поле, черное, круглое, жутко одинокое. Белые юрты движутся с летних пастбищ на осенние, с осенних к черным землянкам, похожим на степные могилы, — зимним стойбищам.

Теперь осенью, кажется, будто в степи два игрока забавляются игрой в черные и белые кости, и игрок с белыми все проигрывает и проигрывает. Настанет время: во всей степи не будет белых юрт, а только могилы и зимовки. Мало, совсем мало осталось здесь стариков, которые, помня счастливый золотой век, остаются зимовать в юртах. «Не хотим, — говорят они, — живые лезть в могилу».

Мы едем будто в стране Авраама: на тысячи верст тут живут одни пастухи. Мы у источника красивых и горьких иллюзий.

Вот бронзовый пастух, весь в лохмотьях, едет шагом верхом на лошади и напевает. А бараны под песню пощипывают на ходу низкую, желтую, сухую траву.

— «Жирейте, мои бараны, и потягивайтесь», — поет пастух.

— «Мы жиреем и потягиваемся», — отвечают бараны.

— «Пеняйте на себя, если не разжиреете», — напевает пастух.

— «Будем пенять на себя», — отвечают бараны, конечно, голосом того же пастуха.

Позвякивают струны домры. Тихо ступает лошадь под песню о добром пастухе и счастливых баранах. Кто за кем идет: пастух за баранами или бараны за пастухом, — не понять.

— Где аул Джонжи? — спрашиваем мы пастуха.

— На осеннем пастбище, — отвечает он и указывает своим бронзовым подбородком. — Там, за сопкой Маира.

Это не близко. Киргиз указывает подбородком в такую даль, что сарт, по степной поговорке, может ехать два дня.

— Чу! — подгоняем мы лошадей на гору. Взбираемся вверх, спускаемся вниз в долину, опять в гору, опять в долину, а сопка Маира все далеко.

Степные горы похожи на волны, и совсем будто море, но только ветер напрасно свистит, — волны не катятся. Перекати-поле взлетает вверх и снова летит вниз. Начинается буран.

С гор нам видно, как на той стороне широкой долины пылит верблюд, а за ним несется пыль, будто огромный желтый кометный хвост. Нам не миновать его, заранее закрываемся халатами и гоним лошадей. Душит. Спешим скорее обогнать верблюда.

— Кто едет? — спрашиваем седока.

Едет сарт с шерстью. Он не здешний и не знает

аулов. Впереди новый кометный хвост, и опять мы обгоняем и спрашиваем: «Где аул?»

— Далеко, — отвечают, — на осеннем пастбище. Мамырхан перекочевал, Ауспан перекочевал, нет близко аулов, зимовок и даже могил.

Над долиной, где мы ехали, спустились тучи, как темные волосы; вечерело; впереди горела степь, будто сотни волков, сверкая глазами, шли в одну линию нам навстречу.

Мы стали искать для ночлега горную трещину и вдруг увидали спокойный огонь. Кто-то жил внутри этого хаоса, прислонив к горе землянку. Перед входом лежали бык и верблюд. Внутри этой кротовины на земляном полу, возле пылающих шариков конского навоза, сидели мужчины и женщины, такие старые, будто они тут были со времени изгнания из рая первых людей. Наш случайный спутник, еврей скототорговец, увидев их, стал молиться и восхвалять бога.

— Все правда в талмуде, — бормотал старик, — нет ни одного слова неверного: и степь, и горы, и огонек, и люди, как Адам и Ева.

Первые люди поставили перед нами чашку с зернами жареной на сале пшеницы.

— Земледельцы!

— Джетаки, — сказали спутники, — лежат, не кочуют.

И стали под свист бурана рассказывать, как в степи разрывается обычный круг кочевого года и по ту сторону общей жизни остаются эти первые земледельцы, джетаки...

— Все, как в талмуде, — повторил еврей.

В степи поэт начинает весну. В темной кротовине, сидя на корточках у костра, он поет, что слышит движение творческих сил в земле. Тают ледяные сосульки на окне, и свет проникает в землянку. Видны

месяц и звезды и все светила небесные. И так исполняется библейское: «Да будет свет!

Шумят весенние потоки: суша и вода отделяются. Птицы летят, неустанно разговаривая: стрепет звенит крылом, копчик и пустельга дрожат в воздухе. Суслики поют у нор. Каждая сопочка зеленая стоит. В землянке после поэта будто бы первая видит весну мышь. Она взбирается на горб верблюда и пищит, что видит весну.

И выходит человек, и видит, как при входе в рай, что все хорошо. Говорят, будто тут ему богомолка с ветки зеленой спаржи мохнатой лапкой указывает путь на летнее пастбище.

Караван идет, окруженный животными. Впереди на лучшем аргамаке едет самая красивая девушка аула в алой одежде, в шапочке, отороченной соболем и украшенной совиными перьями. На стоянке она вдруг стегает своего коня и мчится, вся в красном, по красным цветам, как огненный пал по суходолу. Джигиты хотят догнать ее и коснуться рукой ее груди. Но девушка извивается, как ящерица, хлещет джигитов нагайкой прямо в лицо и скачет дальше на край степи.

Кровь бежит по лицам. Нелегко догнать красавицу. Только один, самый ловкий, достигает своего, и девушка едет с ним, покорная, как после ночи бессильная луна. Тогда даже подвижник пустыни, верблюд, сходит с ума. И вереницей тянутся в святые горы бесплодные женщины ночевать там и просить бога послать им этой весной деток. Великий Худай всем посылает, и все радуются и множатся. Проходит весна, лето и опять от аула к аулу, от зимовки к зимовке, от могилы к могиле катится, как черный грех, перекати-поле.

— Знает великий Худай свои дела, — говорят старики-земледельцы, потерявшие пастбище.

И рассказывают эти старики о страшном годе Зайца, когда они лишились скота и не могли уже больше весной выехать на летнее пастбище и остались в своей зимовке на вечные времена в поте лица обрабатывать землю.

В год Зайца великий Худай послал джут: степь заледенела, скот, добывая из-подо льда траву, резал ноги, худел без пищи и падал. Буран подхватывал животных и гнал, как перекати-поле из края в край. После бури при солнечном свете из трещин гор выходили волки, слетались вороны, стервятники и сороки. Вся степь была покрыта трупами. Были вой и карканье, и стрекотанье, и последний ужасный рев.

Великий Худай не совсем погубил бедных людей, приютивших нас во время бурана, оставил им одного быка и верблюда, чтобы в поте лица обрабатывать землю и сеять «бидой» (пшеницу).

Так рассказывали нам в землянке под свист бурана люди, знающие степь, и старики, испытавшие на себе год Зайца.

— Как в талмуде, — повторял еврей, — там нет ни одного слова неверного.

Пищали мыши, жевал бык, сопел верблюд, — все живое, что осталось с этими людьми по изгнании их из рая.

И трудно было представить рай нам, утомленным дорогой, изгнанным очень давно, никогда и не видавшим летнего пастбища кочевников. И нельзя было представить себе землю, где можно бы быть просто счастливым и не вспомнить: «В вас самих царство божие», а не в земле.

Но эти люди были уверены, что вот за сопкой Майра, куда мы чуть-чуть не доехали, где совсем недавно они кочевали, и находилась земля обетованная.

— *Арка*, — говорили наши Адам и Ева, — тут хребет земли, это и есть *та* земля.

— Да почему же она Арка, почему Аркадия? — спрашивали мы.

— Баранина жирная, кумыс пьяный, хлеба не сеют и не едят, — ответили первые земледельцы.

Утром после бурана степь еще позеленела. Позднею осенью степь-пустыня оживает на короткое время. Раздвигались на небе хмурые морщины. Солнце всходило. Ложились на небе золотые борозды.

У озера кто-то размахивал белым. Мы подумали: «Это охотник втравливает белого кречета». Стали дожидаться полета птицы. Но охотник все махал, а кречет не летел. Старик же так рассказал нам про охотника: это — его помешанный зять; раньше у него были несметные стада гнедых лошадей, но в год Зайца великий Худай отнял у него все и указал ему жить в землянке и обрабатывать землю. Гордый человек сказал на это: «Не хочу жить живой в могиле» и поселился в трещине горы. За это великий Худай лишил его рассудка: раньше он был первый охотник с белыми соколами и кречетами, а теперь, когда видит уток на озере, выходит из трещины и машет белой шапкой, как кречетом.

— Ой, алла! — вздохнул старый Адам.

И ему ответила Ева совершенно так же:

— Ой, алла!

Мы хотели с ними проститься, но они пожелали проводить нас на пастбище, показать нам счастливую страну за сопкой Маира. Стали укладываться и собираться, как весной на кочевку. На горизонте везде, как бисерные нити, тянулись журавлиные стаи. Над нами старые журавли учили молодых строиться в треугольники и уводили полк за полком в теплые края. И мы тоже, как журавли, осенью собирались ехать куда-то на пастбище.

— Чок, чок! — крикнула женщина на верблюда.

Он нехотя и с криком подогнул колени. Женщина села верхом и, держась за худой горб, крикнула:

— Чу!

Верблюд поднял женщину высоко над землянкой.

Старик сел на быка.

Наши лошади трусили скорее верблюда, а бык от всех отставал.

— Чу, чу! — хлестал старик быка, тоже трусил и, нагоняя нас, говорил свою степную пословицу:

— Если товарищ твой кривой, старайся поджимать глаз, чтобы быть с ним под пару.

ЧЕРНЫЙ АРАБ

Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед на летнее пастбище, к отцу многих и многих пастухов, мудрейшему баю Кульдже, прозванному *степным царем.*

Блеснуло пресное озеро. Показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей, степных воров, для устрашения недобрых людей. Мудрейший судья пастухов мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны.

Длинное ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец восьми тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам шестнадцать молодых джигитов на лучших бегунцах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель, за ними — молодцы в лисьих и бараньих малахаях, на седлах, украшенных серебряной резьбой.

Все они проводили нас к аулу Кульджи, — многим юртам, белым, как чайки. Седовласый, старей-

шин в ауле аксакал вышел к нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя.

Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки: все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами.

Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога, как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый, широкий тыквенный лик отца пастухов. Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище не одного ведра кумыса — так отлила степь своего царя.

За спиной Кульджи неподвижная, как статуя китайской богини, сидела его старшая жена: байбича. По левую руку ее на блюде лежали два больших куска масла, по правую сидели три бронзовых мальчика — дети Кульджи, а впереди, на виду, стояла гордость старшей жены степного царя — швейная машинка Зингера.

Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровьи наших рук и ног. Мы ответили тем же и, усаживаясь, спросили:

— Слыхал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи?

— Э! — кивнул Кульджа в знак согласия.

— По Длинному уху? — спросили мы.

— Слово бежит в степи всегда по Длинному уху, — ответил степной царь. — Великое дело — слово, но оно же и губит племя Адама: вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте; мы рады: хороший гость, с хорошими пожеланиями — и овца приносит двух

ягнят. Но Длинное ухо доносит весть и о плохом госте: после такого гостя последнюю овцу уносит волк.

— Э! — согласились поэт, певец, музыкант и учитель.

— Что привело гостей в нашу землю? — спросил Кульджа.

— Привлекает посмотреть страну, — ответили мы, — где люди живут так, как жили все люди в глубине веков.

— Углубления и ямы страны, — ответил царь пастухов, — существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает, а на деле все просто. Но в этом случае гость прав: это лучшая в мире страна Аркä, значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть.

Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Аркä.

Вечерело. Стада собирались, — лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловят одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны — позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовною жизнью: все собирается.

— Это мои табуны, — указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую.

Без канав, без оград во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника: в долине белели юрты дяди Кульджи и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горою еще сват и бесчисленные бедняки, ютившиеся возле богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась.

Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках.

— Эта юрта — моей матери, — указал хозяин на большую белую юрту, — эта — старшей жены, эта младшей, эта — жены, доставшейся мне от покойного брата.

Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными.

Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями, ягнята радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Детей дойных коз и овец вязали на длинную веревку — овцевязь — голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой, мальчуган мчался на двух баранах, на одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко. И пахло острым овечьим сыром. И крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор.

Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребятами, пастухи доили кобылиц и верблюдиц и, когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку.

В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых чалмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз с хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, бий (народный судья) — огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын Ауспан с белым соколом на руке и с филином, горбоносый красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом аргамаке старый дядя Кульджи и с ним три провожатых на вороных аргамаках.

Приехал Джанас из долины Пестрой змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой и другой толстобрюхий с крысиными хвостиками и третий толстобрюхий с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд по-двое, по-трое, по-четверо, на вороных, на белых, чубарых, соловых, гнедых, мухортых, всяких мастей аргамаках, съезжались со всех сторон степи всадники в широких халатах, стройные и высокие горцы, и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Кульджи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс.

Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавицы аула украшают свои алые шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран страшнее черного перекати-поле.

Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды; хозяин, указав гостям рукою на юрту старшей жены, сказал:

— Время рот раскрывать!

Белые чалмы мулл склонились у дверцы; за ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай народного судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель.

Оба муллы заняли место против двери, обращенной к каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла — все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в туркусах кумыс. На низкий стол поставили сахарницу и вокруг нее гор-

кой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куска масла. В огромный черный котел опустили разделенную красную тушу лошади.

Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомства и коснуться губой чашки с кумысом: была великая ураза (пост), рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью.

Своим гостям, иноверцам, хозяин, однако, кивнул головой на масло.

Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком?

Не удалось: сухой шарик рассыпался.

Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал:

— Грызите!

Мало-по-малу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малые чашки гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье.

— Что нового расскажут ученые гости пастухам о других виденных ими странах? — спросил народный судья.

— Недавно мы видели, — ответили мы, — такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает.

— Как же там постятся мусульмане? — сказал строгого мулла. — Гость ошибается: нет такой страны.

И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы.

Хозяин вступился за гостя и сказал:

— Есть такая страна!

Мулла вскочил. Многие вскочили с мест, оставив

кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятое нами слово было: «*Шерегат*».

Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане.

Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорил: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло, и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил—«география», пока мулла не сослался на шерегат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шерегат не прав»!

Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман».

Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю.

И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца. И лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке.

Все услыхали топот и подумали: волк гонит испуганный табун.

Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник Длинного уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно. Джигит очнулся: нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи.

— Амамба, амамба! — повторял заблудившийся, грея у костра руки.

— Аман! — отвечали ему и спрашивали: «Есть ли новости, хабар бар?»

— Бар! — отвечал заблудившийся: — в долине *Потерянный топор* украли просватанную девушку Нур-

Джемеля. Жених потребовал возвращения калыма. Хозяин отказал. Жених сам угнал лошадей у отца невесты, и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей.

— Кто украл невесту?

— Не знаю, — ответил гость, — степь велика!

— Степь велика, — повторил степной царь и спросил: — нет ли еще чего нового?

— Видел белую галку, — ответил гость.

— Белую? Мулла, есть ли белые галки?

— Есть — ответил мулла.

— Йо! — удивились все.

— Еще видел всадник Длинного уха как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая Албасты.

— Это бывает! — сказали пьющие кумыс.

— Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое.

— И это бывает! — сказали люди в халатах.

— Еще видел при наступлении ночи черного зайца.

— Черного! Мулла, есть ли черные зайцы?

— Йо-о! — удивился мулла и щелкнул языком, ничего не сказав.

— Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы.

— Йо-о!

— Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Казык, и что там вечная тьма.

— Мулла, есть ли такая страна?

— Есть, — ответил мулла.

— Что же еще есть нового в степи? — допрашивали люди, пьющие кумыс.

— Еще что? — повторил гость. — Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный араб и обертывается

то святым, то чортом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.

— Он здесь! — сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот.

«Нет, — подумали мы, — здесь уже нет Черного араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он — как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот».

На всю ночь запировал степной царь в юрте старшей жены. Восемь тысяч вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть девятого месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется.

Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берет свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею.

Спят все восемь тысяч голов. Даже сторожевой козел, Серке, подгибает колена. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла.

Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чиевника и шепчет:

— Это ты, мой медный кувшинчик?

— Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка, — отвечает кувшинчик. — Это я — здоров ли язык?

— Язык здоров, на сердце боль.

— Болит твое сердечко, скушай яблочко с базара.

Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц. Желтое яблочко. Желтые щеки возлюбленного.

— Желтым, желтым, очень желтым видела я тебя во сне.

— И тебя я видел желтой, но твои волосы чернее чернил муллы.

— И твои, дорогой!

— Твои очи темней обожженного пня.

— И твои.

— Твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди — как свежее масло. Твои очи — как серп новолунья.

— Клянись, — просит она, — обернись к луне, загни ноготь своего большого пальца.

Он повертывается к луне.

А там на пегатом коне едет в пустыню Черный араб.

Утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил. Степной царь уже отдал приказ к перекочевке.

Верблюды лежали перед юртами. Женщины снимали войлоки, обвивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так одна за одною, как сон, исчезали белые юрты: самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разобрали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ощипанный филин с огромной головой и поскакал в степь.

Караван двинулся тоже в ту сторону.

Скачет ощипанный филин. Катится черное перекати-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступнею в старый след на кочевой дороге.

Проходят караваны, встречаются и разъезжаются

степные всадники. Ищут колодец с живой водой. Спрашивают, где обетованная страна?

Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить.

И немного осталось им времени думать: вот уже падает снег.

Бессильные, подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув к камням длинные шеи и свесив пустые горбы.

Ревекка не выходит с кувшином из белых шатров напоить их: не та земля, не тут страна Ханаанская.

А в настоящей пустыне, где земля без людей, и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Черный араб.



Славны бубны
У деда под бородой
Любовь Османа
Алмазная гора
Белый дед
Трагикомедия

БУБНЫ СЛАВНЫ

Необыкновенными цветами убранною представлял я себе на юге весну, и цветы эти пахнут особенно: понюхаешь — и сразу о всем догадаешься и вспомнишь свое такое далекое, последнее, что уже не себе одному, а всем равно мило, и чего из-за привычки никак не дощешься в обыкновенных наших деревенских детских цветах. Мой друг хвалился своим садом в Крыму, писал мне, что сотни сортов развел он себе роз. каких я еще никогда не видал; в саду деревья посажены необыкновенные, с такими большими цветами, что ранней весной, когда листьев на дереве еще нет, от одних этих цветов под деревом тень, как у нас в июле от лип. Есть магнолии, американские бамбуки, итальянские кипарисы, вавилонские ивы, араукарии, допотопные растения раины, высотою до звезд, но самое главное — веллингтония, дерево жизни, вечно живет и растет, если погибает, то не от себя. Под этим деревом его детки — Соня и Костя — бегают теперь безгрешные, как Адам и Ева в раю. Родились они еще в Братовке, но ничего не помнят, не знают, что такое ржаная солома, соха, мужик, береза, карась, куколь в овсе, кувшинки в болоте. Мир для них на юге — синее море, где на зеленых островах живет какая-то Маговей-птица, а на севере — стена Яйлы, и прямо за Яйлою — какая-то Москва, тоже похожая на голубую Маговей-птицу. Райский сад, горы

и море, теплое, синее, где некогда жили эллины, — чего же больше?

«Мы здесь, — писал мой друг, — будто на том свете, в раю; все, что было лучшего, осталось с нами, но преобразилось. Моя жена теперь здорова, но так, что вернуться не может на родину. За жизнь свою благодарит бога и благословенный край, а мы все, конечно, с ней. Приезжай непременно!»

Друга своего я послушался, поехал, поздно ночью прибыл в Коктебель и, утомленный дорогой, крепко заснул. Только в детстве и в путешествии бывает так, что заснешь, и утром, просыпаясь, не знаешь, где раньше был, откуда пришел, только чуешь сквозь сон что-то невиданное и прекрасное.

— Скажите, в какой я стране?

Отвечает кто-то голосом моего старого друга, называет, как бывало на охоте, коротким медвежьим именем. Значит, я просыпаюсь в Братовке, в лесном шалаше.

— Где мы с тобой, в каком лесу?

— Ну, вставай, будет тебе бормотать!

И я пробудился ранней весной перед открытым балконом, на берегу синего моря, в кругу своих, все равно что родных людей.

Руки мои стали больше и сильнее, чем у самого Геркулеса, я охватываю этими руками весь горизонт синего моря, прижимаюсь грудью к родимой матери — морю; как море, спокоен и силен, все тут мое; мои чайки, мои буревестники летают над морем, мои дельфины играют, мои волны выбивают из черных скал разноцветные камни.

Здесь и бабушка, все такая же старая, вечно седая бестужевка. Она все любила на свете и ненавидела только, по Некрасову, какое-то очень далекое от ее жизни начальство. У нас в памяти остались от этой

ненависти только прекрасные целомудренные некрасовские стихи. Попрежнему она теперь своим внукам Косте и Соне показывает каких-то пришпиленных жуков. Когда-то ученая женщина собирала с ними серых жуков; время все шло, бабушка поседела и осталась такой навсегда, а жуки становились все милее, краше, и вот теперь сияют, переливаясь на солнце всеми цветами; и море в цветах, и горы в цветах, вокруг нас носятся в свете солнца невоплощенные души цветов, и мы с ними новые, прощенные.

— Море, — говорит бабушка, — здесь лучше всего: подойдешь к нему, и всегда оно тебя успокоит. Другие в церкви находят утешение; те — счастливые, знают, что со своими опять встретятся. А все наше старушечье горе отчего? Знаешь наверно, что уйдешь и никогда уж со своими не встретишься. Вот подойдешь к морю тогда, и оно чем-то всегда успокоит.

Но где же обещанный сад? Вот я вижу только маленькое, розовыми цветами покрытое дерево и совершенно без листьев. У нас цветы бывают на зелени, здесь почему-то одни цветы.

— Листья здесь не торопятся, — объясняет мой друг. — Здесь тепло, успеют; это миндаль.

Садовник Асан поливает маленькое, в аршин высоты, миндальное дерево; под горой вижу еще одно такое же, но то не цветет. Почему то не цветет?

— Почему то не цветет? — говорит Асан, — там гора, гора смотрит на солнце, миндаль смотрит на гору, солнца не видит, оттого там и не цветет.

На том маленьком дереве чуть слышно поет единственный зяблик. Пролетел одинокий, полусонный зимующий грач, а земля просоленная, голая, горы тоже совершенно голые, вся площадка между голыми горами какая-то нищая, и вокруг нее реют невоплощенные души цветов. Спрашиваю своего друга: «Где же

обещанный сад, эти бамбуки, допотопные деревья, магнолии, кипарисы, дерево жизни?»

— Вот сад, — показывает мой друг какие-то палочки, — только забудь наши обыкновенные меры, смотри больше на солнце, море, скалы и создавай свой собственный сад. У этого благословенного моря каждый мечтает и творит, для наслаждения здесь не нужно высоких деревьев, из этих палочек я создаю свой собственный сад. Видишь, вот здесь бамбуки, здесь будет множество роз, вот кипарисы, видишь?

Вижу я только палочки на просоленной, каменистой, бесплодной, нищей площадке, вижу камень, воду. Но друг мой — поэт и может творить из ничего, почему бы и мне не попробовать?

— Вижу бамбуки, розы, кипарисы, — отвечаю я другу-поэту.

— Это, конечно, ты знаешь, — продолжает он, — дерево греков — маслина, мирты и лавры?

— Вижу митры и лавры.

— Вот тисс, может расти тысячи лет, он может быть современником Владимиру святому.

— Вижу Владимира, едет креститься в Корсунь.

— А вот и знаменитая веллингтония, о которой я тебе так много писал, — дерево жизни, неумирающее. Видишь?

— Конечно, вижу дерево жизни.

Маленькая Соня так серьезно и напряженно глядит на меня, сероглазая и нервная, должно-быть, понимает, что я смеюсь над их садом.

— Ты видишь веллингтонию,—останавливает она,— а куда же ты смотришь?.. Я за ним давно смотрю,— доносит Соня, — он ничего не видит, притворяется, он врет, он...

— Соня! — останавливает бабушка, — кто это «он», что это за «он» такой? У него есть свое имя.

— Медведь!

— Что? Как ты смеешь?

— А зачем он врет?

И побелела от злости, еще немного — расплачется.

— Ты разве никогда не врешь? — спросил я девочку.

— Я никогда не *реу!* — крикнула и убежала плакать к себе.

А добрый пузик Костя лезет ко мне, обнимает и шепчет на ухо:

— Дядя-медведь, ты не врешь, ты слепой, скажи, что слепой.

— Они у нас, правда, никогда не врут, — говорит бабушка, — самим не нужно, и дети не будут, дети — хороший народ...

«Я никогда не р в у!» — слышалось издалека сквозь детские рыдания.

Так провалился я в своем творчестве, вижу нищую площадку с колышками, голый камень, воду и прямо говорю своему другу: «Что тут любить?»

— Полюби камень, и ты все поймешь. Из воды, камня и света построй новую вселенную.

Проходит несколько дней, одинаково светлых. Без всякого изменения стоят палочки в саду и два миндальных куста, один с цветами, похожими на бумажные, другой попрежнему смотрит на гору, гора смотрит на солнце, — куст не цветет. Единственный грач улетел, скрылся зяблик за горы справлять северную весну. Соня дразнит меня: «Я в море купалась, а ты не купался, я в Отузах была, а ты не был...» Станет в углу и заведет свою дудочку, пока я тоже не начну дразнить: «Я плавал по океану, а ты не плавала, я рожь косил, а ты не косила», и наберу много всего, девочка разозлится и бежит к бабушке жаловаться: «Он опять меня дразнит!» — Кто «он»? — спрашивает бабушка и проберет ее, а мне потихоньку скажет:

«Вся в мою бабушку, большая будет плутовка! Раз Соня начала было выделывать свои штуки: Я была на горе Карадаг, а ты не был!» — «Как же это я до сих пор не собрался на знаменитую гору! — подумал я. — Непременно же надо сходить туда перед отъездом». Асан взялся меня проводить, и в то же утро мы пошли на высокую и страшную черную гору. Вблизи нас поднимался какой-то господин, похожий на полную женщину, с тетрадкой в руке; с ним была мужественная высокая дама с длинной палкой. Когда мы их догнали, господин спрашивал свою даму очень странно: «Через что я вас знаю?» Асан мне рассказал, что господин — из «индийской партии», в этой партии и говорят, и одеваются, и живут совсем особенно.

— Через что я вас знаю?

Дама отвечала просто, что видит господина в первый раз.

— А я вас знаю, — говорил он, — через что я вас знаю?

Странные люди «индийской партии» сели отдохнуть на камень. Мы обогнали их и стали подниматься выше, к могиле святого; у них тут могилы святых на вершинах гор, и всем им общее имя — Азис. Эта могила была самая мертвая из всех могил в мире: едва оформленная груда серых камней, и возле нее черные, корявые кустики. Возле камней могилы лежал халат, кто-то недавно здесь молился и был где-то вблизи. Не верилось, что кто-то еще мог оживлять эти камни молитвой. Мы сели возле могилы отдохнуть, и скоро из кустов вышел с водой бедный, больной татарин. Он еще не молился, а только спускался за водой, чтобы омыть себе перед молитвой ноги. Болел он ногами, пришел издалека потихоньку, поднимается ежедневно на Карадаг и чувствует исцеление. Паломник Азиса долго не мог с нами разговаривать, стал на халате

лицом к Мекке, зашептал свое «алла, алла», и могила от его молитвы начала оживать. Асан, как провожающий меня, по своим законам, мог не молиться, и я спросил его потихоньку о могиле: почему она, кажется мне, расположена не в направлении к Мекке, как все мусульманские могилы? Асан долго, внимательно рассматривал серые камни, обходил их, примеривался к морю, к небу, к солнцу и растерялся. Может быть, у него было в эту минуту сомнение, подлинно ли это мусульманский святой: этому святому одинаково ходят поклоняться мусульмане и христиане, татары и турки, болгары, греки, русские, и все говорят, что это их святой, и никто не может от него отказаться, потому что все одинаково получают исцеление. Асан долго осматривал, думал и, наконец, сказал:

— Это ничего! Пусть он лежит не так, но глазами он все равно смотрит на Мекку!

— Алла, алла! — молился больной.

В эту минуту святой Азис, может быть, и на меня перевел свои глаза: я вдруг стал понимать всю красоту этой суровой могилы на верху черного потухшего вулкана, и видел я море, цветистую линию гор, одну за одной уходящую в лазурную дымку, и возле одной из них сверкали весла триремы, плыл Одиссей...

Асан помогал мне, указывал окаменевший корабль, окаменевших людей, животных, птиц... Я понимал, что эти камни у моря можно оживлять и любить больше, чем наши поля, не теплой родственной, а какой-то особенной вселенской любовью, и сердцем, а не головой постигал, чему напрасно по своим садовым палочкам учил меня друг: «Полюби камень, воду, свет, и сотвори из этого вселенную».

Когда больной татарин кончил молиться, мы еще с ним поговорили о чудесах и узнали, что один даже вовсе безногий пришел на Карадаг и получил полное исцеление. Спросить, как безногий человек мог взойти

на Карадаг перед исцелением, не пришло и в голову. Воздух был чист и благотворен.

Больной татарин стал спускаться в зеленые Отузы, покрытые святыми раинами, а мы в пустынный каменный Коктебель. Внизу, где был уже слышен шелест прибойной волны, попрежнему сидел господин с тетрадкой, и с ним его мужественная дама с горной палкой, и, наверно, он спрашивал ее под шелест прибойной волны: «Через что я вас знаю, через что я вас знаю?»

Карадаг был вулканом. Теперь он перегорел, потух, почернел. А море попрежнему осталось живое, то ластится к нему, то начинает хлестать мертвеца и выбивать из него разноцветные камешки — воспоминания прежней пламенной любви вулкана и моря: яшмы, аметисты, бериллы, топазы рассыпаны по берегу моря. Странные, с неподвижными глазами, в летнее время ходят по берегу взрослые люди и собирают эти камешки-воспоминания.

Мы с Костей, конечно, тоже пошли собирать эти камешки. Капризная Соня, по своему обыкновению, затеяла историю и шла отдельно, сложив губы бантиком. Вблизи нас шел тот господин, похожий на полную женщину, и его мужественная дама. Он, подавленный воспоминаниями, собирал камешки рассеянно, вынимая тетрадку, просматривал ее на ходу. Дама его деловито всматривалась в камешки и бросалась, как ястреб, на ценные. За шумом прибоя речь их была не слышна, а прибой выговаривал: «Через что я вас знаю, через что я вас знаю?»

Чашечку турецкого кофе каждому хочется выпить после прогулки у моря. Мы зашли в кафе «Славны бубны», пили кофе. Дама рассказывала полному господину о какой-то заграничной выставке Сецессион: там будто бы этой весной был выставлен ее портрет.

Как только она сказала слово «портрет», спутник ее вдруг побледнел и вскочил.

— Портрет! — закричал он — портрет! Я знаю вас через портрет!

У ДЕДА ПОД БОРОДОЙ

Дождь не мокрый, снег не холодный. Кипарисы возле пыльных дорог стоят серые. На стенах пустых дворцов, обвитых глицинией, бегают нехотя полусонные ящерицы: побегут и остановятся серые, подумают и опять побегут или спрячутся. Деревья чужие, непонятные. Цветы раскрываются, когда им захочется, без поста, без праздника. Голубой весны не бывает на юге. Нет снега и нет голубой весны.

А в горах в это время кипела настоящая русская весна. Огромными пластами лежал еще снег на Яйле и спускался. Оттуда далекие, чуть видные, сосны манили сказкой о морозе, что это он, могучий старик, спустил сверху свою белую бороду: в дни жаркие подбирает повыше, в холодные спускает, хочет заморозить цветущий миндаль и не может вниз дотянуться. Захотелось мне в это время туда, к сказочным соснам, к молодой весне подняться и поклониться для всех благословенному и мне малопонятному югу.

Никто из настоящих проводников не брался проводить меня в горы. Я пошел посоветоваться к добрым людям на базар. Тут были татары, греки, турки, армяне, продавали рыбу-кефаль, над рыбой кружились залетающие с моря чайки, в кофейнях угощались чашкой кофе люди смуглые, черноусые, в красных фесках, говорили о политике, да еще как! — Было время осады Адрианополя. Один красивый юноша в красной феске стоял возле своей фруктовой лавочки и задумчиво смотрел на бакланов и чаек. Он мне по-

нравился, и, уж бог знает почему, я принял его за грека, подошел к нему, приветливо сообщил ему свежую новость: греки только что взяли еще один город у турок. Он мрачно переспросил: «Греки взяли?» И я вдруг понял, что турку я радостно сообщил о победе греков. Поздно извиняться, юноша тянет меня за рукав в свою палатку, готовлюсь побольше купить александрийских фруктов и загладить грех. Но юноша тянет меня не за фруктами. Вот на его столе большая раскрытая книга.

— Видишь эту книгу? — спрашивает юноша. — Мулла говорил, в этой книге написано, что и у нас есть Христос! А вы думали, только у греков, — нет, и у нас есть такой же Христос.

— Прекрасный юноша, я в этом уверен.

— Уверен? Это хорошо, это очень хорошо. Еще мулла говорил, в этой книге написано, греки возьмут Адрианополь и даже возьмут Константинополь, но только будут они в нем одни сутки. Потом опять придут турки и будут их всех бить не пушками, не ружьями, не штыками, не пистолетами, не кинжалами.

Юноша долго перечислял всякое оружие, я ожидал последнего: турки вернутся и будут бить словом истинного, общего христа. Но чем больше перечислял турок всякое оружие, тем неподвижнее и страшнее становились его глаза.

— Чем они будут бить? — остановил я его речь.

— Они их не будут бить, — ответил он.

— Милый юноша!

— Бить они их не будут, — повторил турок, — они будут их резать.

— Словом Христа, конечно?

Юноша отмерил одной рукой громадную величину другой, от ключицы до ногтя среднего пальца.

— Не бить, а вот такими большими ножами они их будут резать!

Так отомстил мне турецкий юноша за мое известие о новой греческой победе. Конечно, я купил у него винных ягод и фиников и на прощанье спросил о своем: не знает ли он, можно ли в это раннее время взойти на Ай-Петри?

Своими прекрасными, задумчивыми глазами юноша посмотрел на снежный край Яйлы и сказал:

— В книге написано: человеку можно взойти на всякую гору; почему же нельзя взойти и на Ай-Петри?

А все это южное солнце наделало; это солнце творит здесь из красной фески, из синей куртки, из поддельной раковины цветы; смотришь на эти цветы и не видишь турка и грека. Возле одной лавочки я залюбовался раковинами, должно быть, крашеными. Армянин, их владелец, вцепился в меня.

— Одна природа, другая природа! — хвалил он и показывал все новые и новые раковины.

Напрасно я отбивался от раковин, от разноцветных морских камешков, украшенных ими ящиков, детских игрушек, — армянин предлагал все новое и новое. Понизив голос, он уговаривает меня купить у него контрабандный «Дюбек», очень дешево партию муската, кусочек земли с дачей, рыболовную фелюгу, сует свои карточки, он — концессионер. А если ничего этого не нужно мне, то не могу ли я ему рекомендовать своих знакомых из Петербурга. Раньше он сам бывал в Петербурге и даже там жил высоко-высоко, на шестом этаже, и простудился.

Измученный, говорю я ему и сам, что попадется, как и я жил тоже высоко, на седьмом этаже, три раза в день подымался без лифта, и нет у меня богатых знакомых, а высоко я жил отчасти и потому, что очень люблю высокие места, и вот теперь только и хожу затем на базаре, чтобы узнать, возможно ли в это время пройти на Ай-Петри.

Поняв истинную причину моего блуждания по базару, армянин холодно сказал:

— Невозможно.

— Стало быть, и спрашивать нечего: зимой нельзя попасть на Яйлу?

— Отчего? — улыбнулся комиссионер. — Другим невозможно, а кто жил на седьмом этаже в Петербурге...

Был тут еще недалеко от нас старый грек: сидел, метился почистить мои запыленные сапоги. Когда я расстался с армянином, он сказал:

— Армяне очень хитрый народ, ничего у них не нужно спрашивать, вот я вас научу, как пройти на Ай-Петри.

Радостно подставил я греку свои сапоги; он, чистя, быстро рассказывал мне занятные сказочки и приговаривал: «Очень просто, очень легко взойти на Ай Петри».

Сказочки у грека были разные, но больше всего он говорил о храбром генерале-начальнике и о голубых людях с коротенькими саблями. — Прибежали, — рассказывал грек, — голубые люди. — «Ваше превосходительство! — говорят, — ваше превосходительство! Какой-то негодяй написал на пальце Ай-Петри слово «Долой», по черному красным «Долой», а дальше что, и сказать невозможно, все долой, от конца до начала». Генерал затопал ногами: «Сейчас же,—кричит,— поймайте разбойника и сотрите все «Долой!» от конца до начала, ничего чтоб не было видно!» Побежали голубые люди, махали, махали коротенькими саблями, не могут достать: скала неприступная. Думал, думал храбрый генерал, взял ружье, дал голубым по ружью, пошел на Ай-Петри, стрелял долго с голубыми людьми свинцом в красные слова и победил их».

— Очень просто, очень легко взойти на Ай-

Петри, — говорил грек, наводя лоск на первый сапог, — не нужно только лазить на черные пальцы.

— А то еще приезжал один немец с красивою тростью, с заграничными чемоданами, усы — как рога у степного быка. Долго немец со многими рабочими строил подмостки и, наконец, поставил на самом высоком черном пальце Ай-Петри немецкий флаг со словами: «Велосипеды, велосипеды!..» Два часа только и висел флаг: как разглядел генерал, что флаг не русский, сейчас же и велел голубым людям флаг расстрелять.

— Никому не везет, кто полезет на черные пальцы, а так очень просто, очень легко взойти на Ай-Петри!

— И еще было. Три дня пировал богатый человек в ресторане «Ай-Петри» и выпил целую бочку вина, сел в пустую бочку, облил ее керосином, просил ресторатора поджечь и столкнуть вниз с Ай-Петри. А ресторатор был армянин... Хитрый народ! Армянин говорит богатому человеку: «Не загорается, керосин отсырел». Богатый человек уснул в бочке, а когда пробудился, то больше не захотел катиться с горы, бочку подожгли и пустили одну.

— Армяне очень хитрый народ, не верьте армянину, верьте старому греку: очень просто, очень легко взойти на Ай-Петри, не нужно только ничего такого выдумывать глупого.

Оба мои сапога блестели, оставалось только отвернуть концы брюк и дунуть, но даже и за это короткое время грек успел мне рассказать, что пустая горящая бочка, прыгая через леса и пропасти, прикатилась на двор к генералу-начальнику; храбрый генерал принял ее за бомбу и велел голубым людям ее расстрелять; голубые люди полили бочку водой, доложили, что была изловлена бомба, и получили награду.

Когда все с сапогами было покончено и хорошо заплачено, я спросил грека:

— Вы повторяете, что так легко и просто взойти на Ай-Петри, но почему же никто не берется меня проводить, и даже ученые люди Горного клуба говорили, что в это время невозможно пройти?

— Ах, ученые люди говорили, — воскликнул грек, — ну, тогда невозможно!

Прошу у грека объяснения: сейчас было так просто, легко, и вдруг опять стало невозможно.

— Видите ли, — ответил грек, — бывает так, что в одно время и возможно и невозможно. Ваши ученые люди говорили о всех, для всех в это время пройти невозможно. Я посмотрел на ваши грязные сапоги и подумал: «Так много вы ходите! Для вас — все возможно». Но теперь у вас сапоги чистые, вы стали, как все, и потому для вас невозможно. Идите же смело; когда вы пройдете, будет и всем возможно.

После этого фокуса с горечью подумал я о настоящих, древних греках: очевидно, способность к философии у их потомков осталась, но какое же они находят ей теперь применение! Припомнилось читанное, что крымские татары находятся с настоящими эллинами в гораздо большем кровном родстве, чем эти греки. И правда, во многих лицах татар было что-то утонченное и очень далекое от базарной практики. Один старичок сидел на своей линейке и по-детски улыбался своим собственным мыслям. Я подошел к нему, рассказал о своих напрасных поисках, он и мне улыбнулся и просто предложил мне сесть с ним на линейку и поехать; потом, когда начнется снег, попробовать вместе с ним взобраться пешком. Быстро я купил на базаре кое-что для путешествия, сел на линейку татарина и поехал.

— Ну, вот и поехали, — увидал нас грек, — я же говорил, что для вас все возможно, вы пройдете, и все пойдут.

— Куда, на Ай-Петри? — сказал армянин, — и хо-

рошо, я верно говорю: кто жил в Петербурге на седьмом этаже и три раза в день поднимался без лифта, тому уже не страшны крымские горы.

Турки, армяне, греки, татары скоро смешались для нас в одну толпу, кипели остатки великого передвижения народов, как в спущенном пруду пескари, караси, головастики, и над нами с горы дедушка-скиф свесил свою белую бороду.

ЛЮБОВЬ ОСМАНА

На пути нашем в городе было много дворцов, окруженных крепостью гор. Казалось, что в этих дворцах за крепостью Яйлы укрываются сбежавшиеся от мужика господа. В саду одного из них, я слышал, квакали настоящие наши лягушки, удивился и узнал, что лягушки вельможным владельцем захвачены с собой из настоящей России. Скоро, однако, исчезли дворцы, виноградники, табачные плантации за городом и начался высокий, особенный горный сосновый лес. Это был не наш северный лес, где весной поют хоры птиц и есть глубина и в глубине тропинка, ведущая прямо на квартиру к лесному хозяину. Горный лес весь сквозной: впереди камни, назади светится между серыми стволами синее море. Зато каждая сосна здесь красива по-своему и каждое дерево можно отдельно разглядывать и любоваться. А еще хорошо, что ветер горный часто неожиданно вдруг откуда-то дунет, и тогда кажется, будто громадная стая птиц пронеслась, прошумела крыльями, и опять стало тихо.

В тишине спросил неожиданно мой вожатый:

— А если вы из Петербурга, то в каком вы там чине, — в военном или в гражданском?

— Не все в Петербурге родятся с чинами, — объяснил я вожатому и, в свою очередь, спросил его, откуда он родом и как его зовут.

— Меня зовут Османом, номер первый, — ответил он.

— Как номер?

— Ну, да, конечно, номер. Есть проводник Осман номер второй, а я — номер первый, старый Осман.

— Проводник?!. Настоящие проводники, я слышал, должны быть молодыми, красивыми, чтобы ухаживать за барынями?

— Ну, да, конечно, ухаживать!..

— И обирать их!..

— Ну, да, конечно, обирать их!..

— Ох, Осман, да ведь это же нехорошо...

— Нет, это очень хорошо. Что в этом плохого, ухаживать бедному татарину за богатым барыней? Барыня богат, барыня рад. А если господин ухаживает за барыней или барыня за господином? То не плохо, и это не плохо.

Корабельный сосновый лес стал густеть, многие деревья были обвиты лианами, как змеями, — это я видел только в детстве на картинках. А у краев дороги на свободе цвели крокусы. Все было мне ново, интересно. Но все это не могло остановить меня заниматься вопросами: отчего существует столько поэм о любви господина к дикарке, и так предосудительна любовь госпожи к бедному татарину? Что, если вообразить себе в этих горах красивую первую грешницу, с которой все это началось?

Осман в это время думал тоже о красивой грешнице.

— Вот, — показал он скалу над водопадом Учан-Су, — вот с этой скалы бросился барыня. С ним был Осман второй. Три ночи Осман был с барыней в горах. Когда барыня бросился, Осман сказал: «Куда ты бросился, туда я бросился». И прыгнул.

Вот и поэма! Я попросил Османа подождать полчаса возле водопада. Вид красивой струйки перенес

меня к могучим северным водопадам, я забыл об Османе, о проводниках, о красивой грешнице. Но Осман все думал о грешнице и вдруг мне сказал:

— Я тоже очень много ухаживал за барыней.

— Осман старый за барыней?

— Ну, да, конечно, за барыней. У меня было всего тридцать семь барыня!

Изумленный, смотрел я на благообразного, милого старика, одетого в какие-то татарские лохмотья.

— И весь мой барыня был молодой: самому старому было двадцать пять лет, самому молодому — семнадцать. Он приехал ко мне, и я показал ему Ай-Петри, Яилу, были с ним в пещерах, видел крепость Мангуб-Кале, Качи-Кален и еще много всего; я его очень любил, и он меня очень любил.

— Так это, вероятно, была экскурсия, это совсем другая любовь.

— Ну, да, конечно, это совсем другая любовь. Я был ему, как отец родной, я ему жизнь спасал, без меня он бы весь умер от сильного ветра. Вот как ухаживал!..

Возле нас были желтые крокусы. Осман сорвал один.

— Вот цветок, что в нем? Мы ехали, было много цветов, и не останавливались, и не смотрели. А барыня мимо цветка не пройдет. Он очень любит цветы и оттого очень тихо ходит. Один рвет цветы, другой собрал, сидит и связывает, третий далеко отстал, четвертый сердит, пятый кушать хочет, шестой стоит на горе и песни поет, седьмой пишет карандашом, восьмой красками, девятый чернилами, десятый спать хочет и голова болит.

Осман пересчитал всех своих девушек, что они делают все тридцать семь, когда он их ведет в горы.

— В теплое время барыня туда-сюда ходит. Сел рвать цветы и кошелек потерял, прошел немного и

кричит: «Осман, я кошелек потерял!» Надо искать. А другой уж еще кричит: «Осман, я платок потерял!» В теплое время барыня, как овца, ходит, а я с ним, как пастух. Я выхожу на большую гору, трублю, и он ко мне собирается. Если он хочет купаться, я опять выхожу на большую гору, смотрю на дорогу, не идет ли кто. Когда вижу человека, трублю, и барыня одевается или весь в реку уходит и плавает. Барыня всегда со мной кушал, привык ко мне и очень меня любил, и я его любил... почему любить барыню плохо?

— Так мы же, Осман, не про ту любовь говорим!

— Ну, да, конечно, не про ту. Я ему был, как отец родной, учил его ходить по горам тихо и не останавливаться, а он меня не слушал, шел скоро в разные стороны и устал. Поздно вечером мы приходим к Яйле, и я там слышу ветер.

Отщипнув листок у крокуса, Осман посмотрел на грозный снежный край Яйлы.

— Вот как этот листок, так и человек, и овца, и даже лошадь, — такой бывает ветер на Яйле. Я слышу, ветер шумит и говорю: «Вот, барыня, пещера, скорее собирайся в пещеру». Он весь туда забрался и стал дожидаться моджару с провизией. Но моджару ветер разбил, не пришла. Такой ветер скоро улетает, стало тихо, и мы вышли на Яйлу. А там сильный мороз, на земле бело. Барыне стало холодно, я развел костер. Но он все равно умирает: был голодный, с утра ничего не ел. Я говорю себе: «Если барыня умирает, то и Осман умирает». Оставил я всю барыню у костра, набрал ему много дров и пошел. Иду, мороз скрипит под ногой, темно, боюсь попасть в трещину, в глубокую пещеру, и сам все думаю: «Барыня, барыня, что делает теперь барыня?» Вдруг показался огонек глубоко внизу, я повернул на огонек, оступился и покатился. Открываю глаза: я у костра лежу, а вокруг чабаны сидят, бараны лежат и собаки. Купил

я у чабанов одного барана, взвалил на плечи и думаю: «Барыня, барыня, жив ли мой барыня?» Поднялся на гору с бараном, смотрю, где огонь, — нигде не видать, потух костер. Зову — не отвечает, трублю, — не слышит: умер мой барыня!.. Иду в ту сторону. Небо чистое, месяц взошел, по морозу вижу мой след. Подхожу — нет огня! Потух костер, барыня лежит кучками, там два, там три, кто кого любил, с тем и умер. Заплакал и громко сказал: — Барыня, барыня, умер мой барыня! — Я сказал, а он шевелится, он жив. — Вставай, говорю, барыня, пожалуйста вставай, я барана принес, кушать, кушать! — Он поднимается, он радуется: — Кушать, говорит, кушать Осман принес. Что же, спрашивает, кушать будем... где баран? — Вот баран! — Он живой! Этого кушать нельзя. — Я смеюсь и достаю нож. Он испугался. Я режу — он плачет. Жарю, — тише плачет. Есть даю, — кушает. Поел, стал сыт, спал хорошо у костра, вставал веселый, песни пел. Вот и все. Я тоже ухаживал за барыней, я его любил, он меня любил... это не плохо...

— Это другая любовь, Осман...

— За эту любовь мало денег дают. А то бывает хорошая любовь: бедный татарин получает большие деньги, строит гостиницу, покупает хороших коней, вот, как Осман второй.

— Да ведь он же разбился, он бросился за барыней со скалы.

— Нет, он жив, и барыня жив. Это я привел молодого Османа к барыне. Барыня приехал и очень скучал. Я принес ему розмарин и говорю: — Не скучай, барыня, у нас хорошие яблоки. — Не надо мне твои яблоки. — Я приношу ему черешню, он черешню не хочет. — Чего же ты хочешь, что тебе надо? — Что мне надо, того у тебя нет, Осман. — Думал я, думал, что барыне надо, думал я, много раздумывал, что, барыне надо, и принес самую большую, самую слад-

кую грушу. — Не надо, говорит, мне твоей груши, а что мне надо, того у тебя нет, — ты старик. — Ударил я себя грушей в лоб: так вот что барыне надо. Догадался! Привел ему молодого, красивого Османа, и он его любил.

— Осман, — сказал я решительно, — это не твоя, это совсем другая любовь.

— Это другая любовь: молодой Осман получил много денег. А у барыни денег стало мало. Он пошел в горы и бросился. Осман увидал: барыня висит близко на дереве и сказал: «Куда ты бросился, туда я бросился», прыгнул на дерево и снял барыню. Но у барыни денег не было, и он бил его кнутом.

— Барыня татарина?!

— Нет, татарин бил барыню.

— Это совсем плохо!..

— Ну, да, конечно, барыне плохо, а бедному татарину очень хорошо: он стал теперь первым проводником, у него много барынь, гостиница, хорошие кони, золотые часы. Бедному татарину стало очень хорошо.

Больше уже не было времени убеждать Османа, что у него совсем другая любовь. Над головой висели снежные глыбы Яйлы, где чуть не погибли курсистки с Османом.

Еще мы немного проехали. Кончились фиалки, крокусы и даже подснежники. В глубоком снегу лошади проваливались по самое брюхо. Сосны окружили нас, удивленные, и, казалось, думали: «Зачем это из миндальных садов и кипарисовых парков странные люди пожаловали, — уж не хотят ли у мороза клочок земли торговать, рубить сосны и строиться?»

АЛМАЗНАЯ ГОРА

Старику Осману холодно в башмаках и летней одежде, мне жарко подниматься в сапогах и ватной

куртке: он стремится бежать, я — постоять, оглядеться, дух перевести. Между нами молчаливая борьба и уступки. Идем, и с каждым шагом видим, как небо и земля разделяются, курятся вершины, как огромные небесные кадильницы, и все беднее и беднее земля. Кончились фигурные сосны, мощные буки и грабы, началась жалкая дубовая мелочь, где прячется по нашим местам заяц трусливый.

Единственный человеческий след на снегу круто забирает вверх, древесная мелочь остается, как пепел на белом, внизу; близко над головой край Яйлы; слышно, как там, в степи, воет ветер. Взобрались на плоскогорье, как воры по жолобу на крышу высокого дома, и глянули.

— Здраствуй, дед-Мороз!..

Я успел наклониться и удержаться за камень, но палку мою вырвало и унесло куда-то в леса. Ветер, пурга, свету не видно. Так встретил нас белый дед на Яйле.

У самого края Яйлы лепится на скале дом человеческий. Это — научная станция; в ней живет ученый отшельник постоянно и, говорят, никогда не спускается в благодатный край у самого синего моря. Перед входом в дом в глубоком снегу была вырыта настоящая траншея, по ней спокойно ходила корова и петух с курами. В домике зябнет семья: тот молодой ученый — бодрый господин, мать его, жена и белый мальчик с синими глазами, представленный мне ученым ботаником, как Aedelweisz varietas Aj-Petri. В этой снежной семье, как на рождестве у матушки, я греюсь у печки, слушаю вой метели. Снежные люди рассказывают, как им тут живется.

Была одна особенно тревожная ночь. Проснулась старушка и спрашивает сына, как маленького: «Юрик, что ты свистишь?» А тот и в ус не дует, буянит и не дает спать старухе. — «Иезус, Мария! — прошеп-

тала старая, — да то же не Юрик, то бес!» Стала молиться и каяться своему ксендзу в родной Вильне. Грех большой у старушки: по слабости, по материнской любви к сыну не может оставить бесовскую гору. Обещается каждый год уйти в Вильну и, когда приходит срок обещания, просится: — «Юрик, отпусти меня на родину, я скоро умру». — «Куда же ты пойдешь, — говорит сын, — у нас теперь ничего нет в Вильне». — «Как ничего, а церковь?» Ясно, куда просится мать: тяжело нести годы земные, туда просится мать, где не сеют, не жнут бесплотные духи. Юрик мать свою не отпускает, а сама не смеет уйти. Вот и свистят теперь бесы, а старухе чудится, что это ее Юрик свистит. Прошептала молитву, чиркнула спичку; горит, а не светит огонь. Это была страшная ночь на горе. Ураган раскидал по крыше трубу и выдул в дом из печи золу. Огонь в пыли не светит, морозу в доме все прибывает, а маленький Aedelweisz был тогда еще совсем крошечный, грудной младенец. Пробовали печь затопить: ветер выкинул в дом горящие дрова, отворили двери и форточки, морозу еще в доме прибыло. Пришлось ночью лазить по крыше над пропастью, собирать с фонарем кирпич по кирпичу и складывать трубу. Мать согревала телом дитя, отец мастерил трубу, старушка молилась и обещалась этим же летом итти на родину, искать свою церковь. Кончилась ночь благополучно, и мало-по-малу зима прошла. А летом хорошо на Яйле: не жарко, не холодно, ноги и поясница не болят. Попросилась слабо раз-два у Юрика, смолкла, и до сих пор живет на горе и, просыпаясь в бесовские ночи, спрашивает — «Юрик, ты что свистишь?»

Мучатся люди в одиночестве, а случится увидеть нового человека, непременно расскажут сначала о себе, а потом уже спрашивают о том, чего им нехватает, о мире далеком, прекрасном и полном.

— Что, персики внизу уже зацветают? — спрашивают снежные люди.

Не успеваю ответить о персиках, спрашивают о войне, о новом законе в Западном крае, о Художественном театре в Москве. За семь лет зимой это всего третий случай поговорить с человеком из мира, где в это время начинают цветы зацветать. Раз какой-то бедный чахоточный учитель по недостатку средств пешком возвращался через горы из двухнедельного отпуска в Крым для поправления здоровья. Другой раз под Новый год какой-то одинокий господин стосковался по снегу, родине, и пошел прогуляться в горы. Стал подниматься выше и выше; пришло в голову, что в летнее время видел ресторан, и он задумал достигнуть вершины и в ресторане переночевать. А на Яйле была такая же метель, как теперь. Странный господин подошел к забитому ресторану, не заметил домика научной станции, перекружился, спутал направление и пошел в степь. Случайно его заметили и спасли.

— Яйла каждый год много людей кушает, — сказал Осман. — Пойдет человек и не вернется. много она кушает!..

И мы принялись говорить об этой удивительной пустыне всего в нескольких сотнях саженей над богатейшим краем. Яйла зимой непроходима, летом странно здесь, как на луне: камни сложены торчком — ребро к ребру, травка между ними пробивается, все голо, ни ручьев, ни озер, а солнце, луна и звезды, как в настоящей пустыне, ближе и больше. Некогда жил тут святой, теперь живет ученый. Бедным людям долин попрежнему нужен святой, и так они из ученого чиновника создали святого; они говорят: «Когда ученый спустится, в долинах не будут уж драться из-за струйки поливной воды, богатые чужие люди вернут бедным татарам землю, будет так хорошо всем, как

задумано творцом, наделившим край лучшим климатом в мире».

И все это будто бы возможно. Ученый делает опыты, чтобы облесить Яйлу. Когда защитный лес вырастет, вода тающих снегов и ливней будет задержана. Воды много, ни одна тучка, не поплакав, не проходит мимо Яйлы. Вырастет защитный лес, будут заделаны какие-то грунтовые скважины, устроены бассейны. Вода будет задержана в пустыне, ее хватит для поливки садов всего края. Люди сухих долин будут разводить тогда легко и дешево сады миндальные, персиковые, виноградные, на земле будет рай, и ученый, конечно, тогда уже спустится.

Вечером стихла метель, где-то за горами всходила луна и колдовала у занесенного снегом замка Ай-Петри. В окно было видно все: черные башни, пониже — белая горбатая линия снега, еще ниже — какая-то серая шерсть, и все пропадало в глубине. Казалось, наш домик стоял у края вселенной.

Я смотрел у окна в своей комнате один, как всходила эта необыкновенная луна горной пустыни. Диск луны был огромный, полный, на нем медленно выдвигался один, самый высокий, черный палец Ай-Петри. Я смотрел напряженно в этот черный край нашей земли; от этого видимый диск луны стал казаться большим сияющим полем, а по этому огромному сияющему полю черный палец Ай-Петри чертил свою линию — земля двигалась. Первый раз в своей жизни я действительно видел, что земля наша движется, видел, верил, понимал, удивлялся!..

В это время все уже спали в домике, я не мог ни с кем поделиться, казалось мне, собственным необыкновенным открытием. Опять и опять я повторял свой удивительный опыт: земля двигалась явственно, нельзя было спорить, это было так очевидно. Когда палец Ай-Петри, совершая свой путь вместе с землей,

опустился ниже луны, я стал повыше, луна понизилась, черный палец Ай-Петри опять чертил свою линию по сияющему громадному диску луны.

Потом всю ночь мне, утомленному днем, приходили в голову рассуждения и разговоры, связанные сказками и украшенные зрительными видениями. Я видел снежную гору Ай-Петри, украшенную огнями алмазов; подножие горы было скрыто в непонятной бездне, а сама гора куда-то плыла, и ее черный, верхний палец чертил свою линию по неподвижному, огромному диску луны. Рассуждал я то с римским папой, то с нашими обыкновенными староверами. Спора у меня с ними не было; напротив, мы все вместе, видя настоящее движение земли, как-то жались друг к другу, как будто приехал к нам в захолустье какой-то страшный ревизор. У нас была несомненная правда, теплая и милая, но там, на сияющем диске луны, черный палец алмазной горы чертил свою несомненную, ужасную, холодную, снежную правду: земля двигалась! Наконец, мы подняли свои робкие голоса, обсуждали долго, как нам теперь быть, и решили все согласно, что земля движется, земля круглая, но это не наша, а другая земля; наша земля тоже есть, но она плоская и неподвижная. Так всю ночь я рассуждал согласно с покойниками возле пловучей алмазной горы, ослепительной, снежной, с указующим черным перстом на луну.

С вечера я задумал встать до солнышка и посмотреть, какое бывает утро в горах, но петух, разбудивший меня, должно быть, не раз и не два кричал под окошком. Солнце было довольно высоко, а море, казалось, поднялось до самого нашего домика, белое, густое. Это были те облака, что люди, просыпаясь в долинах, видят высоко над собой, а в нашей равнине принимают даже за настоящее небо. Здесь облака внизу были совсем похожи на море, и внизу под ним,

где-то в невидимом граде, звонили к заутрене. Потихоньку, чтобы не разбудить своих, еще спящих, хозяев, я вышел из дома пройтись и вблизи посмотреть на Ай-Петри. Шел я вдали от края Яйлы; что делалось внизу с туманами, мне было не видно, и так это нужно было, чтобы сразу поразить меня, когда выгляну. В одном месте ветер сдул снег; тут каменные плиты стояли одна к одной, как на мостовой торцы, только неровные и под углом налево к морю. Одна из этих громадных косых плит особенно высоко торчала, я поднялся на нее и догадался, что это Ай-Петри, еще ступил и вдруг... ступил и скорее склонился к земле. Земля подо мной была плоская, надежная, каменная, а там, внизу, я на мгновение увидел в ослепительном сиянии голубой шар вселенной. Я был у края черной, плоской земли: места было довольно для многих людей, но мне казалось, что только одно мое стучащее сердце помещается на каменной, плоской, родимой земле, ноги мои, руки и все тело висит, и голова тяжелая, вот-вот перевесит и утащит все в голубое. Когда я снова осмелился выглянуть и овладел собой совершенно, там все было попрежнему: горизонта не было, моря и неба не было, был шар, и по голубому поднимался медленно вверх, как муха по стене, маленький дымящий кораблик. В эту минуту я понимал свой ночной сон, знал, за что бьются староверы и всякие старые люди: земля, на которой мы живем, действительно, плоская, вся наша обыкновенная, родовая жизнь складывается на действительно плоской земле; если бы в наш обиход, во все наши чувства ввели этот страшный шар, мы в безумном трепете, ощущая только свое бьющееся сердце, охватили бы нашу маленькую, плоскую землю. Из-за этого они и бились, старые, они хотели сохранить нашу жизнь, и эта наша жизнь — земля воистину плоская.

Когда я еще немного осмелился подвинуться из-за

камня и увидел роскошный южный берег Черного моря, покрытый дворцами и парками, то, после голубого шара, ничего уже не нашел удивительного. Розовую крышу казарм я принял за миндальный садик, искал крыши казарм и остановился на розовом саде. Море было наивное, как на изображении св. Афона; по нему плыли наивные кораблики, на гору поднимались наивные елки. Хорошо было слышно, как звонили в Ялте к обедне, а горы все еще курились, как-будто в согласии со звоном долин в горах пели свою херувимскую.

БЕЛЫЙ ДЕД

Разгорелось утро, настал красный день, закапали капели — и вспомнилась родина в марте, когда у нас на подопревшую плотину у мельницы с крыши голуби слетает, и мельник выходит проверить напор воды. Эта Яйла — таинственное, заоблачное горное пастбище под снегом — совсем как наша степная губерния. Хочу рискнуть один перейти ее пешком и спуститься в долины Бахчисарая. Хочется, и вспоминаются слова старого Османа: «Яйла зимой много людей кушает». Если ветер поднимется, не миновать беды. Полагаюсь на опыт ученого: как он посоветует, так и сделаю; недаром же у него висят на видном месте золотые часы с императорским гербом за верное предсказание погоды. Ученый посмотрел на небо и сказал:

— Облака — антициклонного типа, ничего дурного не предвещают, смело идите!

Я отправился в снежную степь по единственному, и то наполовину занесенному, человеческому следу. Сначала не проваливалось, я ставил свои ступни в чужие и шел, внимательно наблюдая след и размышляя о нем. Бог его знает, кто это шел по снежной

равнине, откуда-то взялся и зачем-то пошел и пошел на полной свободе пространства. Снег сохранил отпечатки, и мне ясно видно, как ходит человек на полной свободе. Законы звериной жизни тянут его итти в сторону, чтобы кругом вернуться на старое место, но человек должен прямо итти, и вот передо мною на земле эта борьба человека с животным: след идет, как ползет змея, постоянно сбивается в стороны, а в общем — все вперед и вперед.

А солнце все греет и греет, первобытный след порыжел и вдруг стал проваливаться. Иду своим путем по ледяной корке, занесенной вчерашним пушистым снегом, стараюсь итти прямо, как можно вернее, и, спустя немного, оглядываюсь, — удивительно! След мой такой же, как и у первобытного человека, идет кругами — вавилонами, постоянно стремясь перейти в след гонимого зайца.

Недолго мне пришлось размышлять о первом следе человеческом; ледяная корка стала проваливаться все чаще и глубже; я ухожу в снег по колено, по пояс, выше и выше. Кладу плашмя перед собой палку, подтягиваюсь на ней, прохожу два—три шага и снова, мокрый, потный, измученный, опускаюсь в снежную ванну; вокруг меня на глазах разрушается дело мороза, и вот-вот где-то в лазури неба и золоте солнца запоет жаворонок. Что делать? Назад далеко и обидно, впереди неизвестное пространство. По шею в снегу стою и гадаю: вперед или назад? И вдруг не очень далеко впереди меня из снега поднялась голова, бородая седая, длинная и до конца не показывается, как будто весь этот снег вокоуг — одна слежалая, неподнятая борода старика. Поднимется голова немного и опять опустится, поднимется и опустится. Видно, что пропадает на солнце и тает. Уж не мороз ли это вышел рано поутру по своим владениям погулять, посмотреть с края Яйлы, нельзя ли нынче по

ниже спустить бороду белую и заморозить цветущий миндаль у синего, теплого моря; вышел, и вдруг попался: пропадает, ноги подтаяли, пар идет, одна голова бьется, путается в бороде.

Собираюсь со всеми силами, то хитрю, стараюсь не ступать, а скользить ногами, как лыжами, то, сердитый, лезу напролом, иду на помощь пропадающему старцу, и бог, покровитель зимы, мне помогает: между мной и стариком возвышенность, едва заметенная снегом. Я выбираюсь из снега с одной стороны, дед лезет с другой, и вот мы лицом к лицу со старым, белым хозяином.

— Здравствуй, дедушка! Что это выбрался ты в такое тепло?

— Здравствуй, милый... выбрался-то я выбрался, да, вишь ты, не угадал,. день парной, раскиселило, иду-колыбаюсь, запрел.

— А куда же ты идешь-колыбаешься?

— Иду я в Ялту способие просить, потому я стар и живу без внимания. Да, вишь ты, голова-то у старого играет так и так, думал — хорошо дойду по морозцу, а ин вышел тын, потому, знаешь, у старого человека голова-то играет.

Дед вынимает из-за пазухи солдатский билет, смотрит серьезными, умными глазами в грязную грамотку и спрашивает:

— Скажи мне, ученый человек, по этому билету выйдет ли мне какое способие, потому, знаешь, стар я и живу без внимания.

Так мы встретились на Яйле с дедом-Морозом, постояли, покурили, посоветовались, он — о способии, я — о своем пути, и разошлись в разные стороны.

А след на Яйле, узнал я от старика, был известного человека: из Коккоз в Ялту шел бедный товарищ Мемет продавать яйца. По этому следу мне и дальше итти; только на сопке, где вчера вовсе сдуло след,

нужно остановиться и посмотреть на землю, проверить путь: в этом месте лежит скорлупа, тут Мемет оступился и разбил яйца. По этому следу мне и дальше итти, а потом опять снег, и след пойдет до перевала; на перевале же и так все будет видно.

Как учил меня дед-Мороз, так я и сделал: шел по татарскому следу. Радостно встретил примету на сопке — разбитые яйца. Под сопкой в ручье напился воды, отдохнул; снег становился все тоньше и тоньше; тут в последних числах путался Март голубой. Скоро показались и первые теплые проталины, ореховые и дубовые мелочи, пахнуло землей, прелыми листьями: в полчаса из голубого Марта перекочевал я в золотистый Апрель. На перевале внизу увидел зеленую долину, покрытую не то высокими тополями, не то минаретами, я увидел желанный край, такой радостный, такой приветливый, и пустился бежать туда, вместе с ручьями, благодарный старому Морозу за снег: без снега не бывает весны.

На половине горы, где уже цветет кизиль и под орешником белеют, как скатерти, последние кружки снега, расчищали дорогу рабочие. Очень удивились, что в такое время я решился перейти Яйлу. Но еще больше они удивились, когда я рассказал о старике: идет чуть живой, пар валит, колыбается, путается в своей бороде, а борода длинная, ниже пояса. Все мужики оставили свою работу, задумались: какой же это старик в такое время мог пойти?

— Говоришь, белый и борода длинная?

— Борода, и на щеке у него была малиновая бородавка.

— Знаем!..

Все объяснилось, как только я упомянул о бородавке: это был дед-Кисет.

— Он говорит, что идет он в Ялту просить по солдатскому билету способие.

— Способие!..

И вдруг захохотали во все грохота.

— Чего вы грохочете?

— Да как же чего? Такой старый и захотел способия. Молодым не дают, а он такой старый...

И опять загрохотали.

А ручьи весело бежали по горе, орех золотился, внизу ожидали высокие раины. По влажной, весенней земле, быстро перехватывая палочкой, бежал я в этот невиданный край, не бежал, а летел, как перелетная птица, и, как птица, ни о чем не думая, твердил одну песню: «Способие, способие, захотел старый дед способия».

ТРАГИКОМЕДИЯ

I

Когда огромная, окованная железом, дверь караимского мертвого города Чуфут-кале поддалась нашим усилиям, запела, приоткрылась и на скале показались глубокие колеи, пробитые телегами далеких обитателей мертвого города, конечно, я думал о вечной книге, приступая к чтению которой, верующий христианин крестится и целует священный текст. Чуфут-кале значит — иудейская крепость. Я знал из книг, что караимы, в исторической перспективе, такие же евреи, как наши хлысты — русские люди, но в то же время проводил бессознательно между ними большую черту. Очень мало людей, знающих караимов, но всякий почему-то повторяет, что караимы совсем не то, что евреи. Помню еще в гимназии двух мальчиков, еврея и караима; еврея, конечно, дразнили «жидом», а караиму, как и всем нам, была кличка индивидуальная. Какая-то особая караимская благодать спасала мальчика от клички, ранящей семя жены в самом зачатии.

И эта самая благодать восстановила в моем воображении чистый образ старца-патриарха, самого древнего, самого мудрого. Когда запела и приотворилась огромная дверь мертвого города, я вспомнил одно необыкновенное дерево, встреченное мною в горах, черное, узловатое, видно, страшно древнее и закаленное в борьбе с жестокими горными бурями. На сучьях дерева висели толстые, в руку, длинные ледяные сосульки и капали на снег, а на снегу от капель под каждой сосулькой была пробита небольшая кругловина, и на ней цвели белые, младенчески чистые подснежники. Когда я сорвал несколько цветов и, подняв от земли голову, встретился с деревом, то оно, казалось мне, черное, узловатое, поднимало тяжелые красные веки, как железные двери, и укоряло за свои молодые цветки. Это старое дерево и вспоминалось мне при входе в ворота мертвого города. Я ожидал и здесь встретить мудрого древнего старца в таком же сочетании с жизнью, как то самое старое дерево ледяными сосульками сочеталось с самыми молодыми цветами весны.

В кармане у меня было рекомендательное письмо к одной караимской девушке Ревекке Шапшал в Бахчисарае, от ее учительницы, знавшей ее еще в школе. «Это письмо, думал я, откроет мне двери к тайнам загадочного народа», я так в этом положился на Бахчисарай, что не очень был огорчен современностью, встреченной в Чуфут-кале. Одна простая караимская женщина, вероятно, жена сторожа, взялась неотступно ходить за мной и все показывать. Самое главное в Чуфут-кале, по ее мнению, был, конечно, дом устроенный караимским обществом для знатных путешественников. В этом доме было чисто, но безвкусно и все напоказ, как у необразованных купцов, пожелавших стать аристократами... Еще мне показывали старые караимские кенассе, пещеры, ханский мавзолей,

перед каждой древностью женщина становилась в позу и путала сказку, прекрасно знакомую мне из путеводителя. Настоящих памятников древности из караимской культуры и быть здесь не могло, от этого народа ничего не осталось. А развалины домов так легко было принять за развалины обыкновенных сараев. Благоговейное чувство к старине в мертвом городе очень субъективно и у меня колебалось, в особенности от вида казарменного здания для знатных путешественников среди развалин на горе висящего мертвого города. Настоящее знакомство с караимами откладывал я до Бахчисарая и был уверен, что там узнаю нечто новое из глубокой и отверженной теперь старины.

В Бахчисарае улочки узенькие, как в средневековых городах, и все на виду. Вокруг меня были лавчужки, кофейни, открытые мастерские, на-глазах тут шили цветные сафьяновые башмаки, мастерили трубки с длинными чубуками, резали восточные материи, паяли кофейники, жарили шашлыки и чебуреки, мололи, варили, пили кофе, играли в карты, в кости, били собак и просто гуляли спокойно, закинув голову, выпятив живот и заложив руки назад. Там проходит важно мулла в живописной чалме, там на верху минарета поет муэдзин, и на зов его, а может быть, и так по улице, устроенной на сухом русле речки, идут таинственные, закутанные в белое, восточные женщины.

Сказали, что Ревекка Шапшал — доктор, указали мне улицу, но я не подумал о европейском обыкновенном докторе в такой обстановке. Ревекка — доктор восточный, лечит целебными травами, ставит диагноз по созвездиям. Я искал глазами вывеску восточного доктора, но чего только не встречали глаза мои в поисках вывески: домики лепятся над домиками, от самого низа до самого верха, в домиках окна без вся-

кой симметрии, двери иногда такие маленькие, что вот видишь, как лезет туда толстый татарин, и загадываешь: «Пролезет или застрянет?» Где-то, пройдя тополь, против фонтана я остановился, хотел внимательно во всем разобраться, но заинтересовался котом, как он спокойно перебирается с крыши на крышу. Следя за котом, я вдруг увидел желанную вывеску, повернул в закоулок и позвонил к восточному доктору.

Ревекка — молодая, красивая девушка с восточным лицом, глаза — как у мудрой птицы совы, нос — как у ведающего счастье слона, сидит одетая в европейский костюм за квадратным полированным столом и читает тетрадку «Женского вестника». На столе и другие наши обыкновенные журналы, из открытого кабинета виднеются инструменты и вся обстановка обыкновенного нашего врача. Ревекка — доктор обыкновенный из медицинского института. Ни в чем не может помочь мне Ревекка, давно разорвала всякую связь со своими отцами-караимами. Она даже как будто чуть-чуть обиделась, что к ней, европейскому врачу, обращаются с такими вопросами, как, может быть, обиделся бы иной профессор из купцов, если бы к нему обратились за советом о жизни замоскворецкой. И она, правда, ничего не знает, разорвала с обычаями караимов давно всякую связь.

Так ни с чем и вышел я бродить по незнакомому старинному городу, раздумывая о таинственном племени и образованной девушке, не помнящей своего родства. То, что у нас казалось так естественно, полный разрыв отцов и детей,—здесь, у чужих людей, этот квадратный полированный стол, поставленный на месте древнего хаоса, и за столом девушка с лицом восточной рабыни, читающая «Женский вестник», сразу округлялись в символические значения. В борьбе за свободу эта Ревекка, может быть, перешла через

труп своего отца, вся она духовно иная, а лицо — той, прежней, библейской Ревекки...

Бахчисарай лежит в каменной чаше, а на краю ее высоко над городом стоят каменные сфинксы, к этим фигурам я и поднялся. Солнце садилось, приближалось время, когда на все минареты выходят муэдзины и, когда солнце касается земли, поют. Я видел в каменной пустыне, окружающей город, как один чалмоносный путник с длинным посохом спешит, чтобы до заката увидеть город, услышать муэдзина и помолиться на краю каменной чаши. Но как раз на пути к городу была пропасть, хаджи остановился возле нее, как-то беспомощно заметался туда и сюда — не попасть ему к закату, не увидеть минаретов Бахчисарая! Он был словно в конвульсиях и вдруг понял, что бесполезно спешить, и замер, недвижимый в чалме с длинной палкой, лицом к закату. Солнце коснулось земли; на всех минаретах запели муэдзины, а тот неподвижный, за пропастью, не слыхал и молился один с протянутыми к солнцу руками.

Когда я спустился в город, то луна уже блестела между высокими тополями ханского дворца; на главной улице по красной заре мелькали черные точки летучих мышей, и все было так, что на вывеску доктора Ревекки Шапшал, мне казалось, я посмотрел глазами ее покойного отца из древнего хаоса.

II

Дома ожидал меня молодой человек, корреспондент провинциальной газеты, с письмом от Ревекки Шапшал. Она рекомендовала меня одному старому караимскому газзану. Корреспондент рассказал мне, что этот газзан был уволен от службы высшим духовным начальством. Покойный гахам Помпулов под конец своей жизни понял, что невозможно караимскому наро-

ду жить, как до сих пор, спиной к культуре из-за того только, что иначе караимов сравняют с евреями и подвергнут тем же гонениям. Поняв это, гахам, под конец своей жизни, стал выбирать газзанов из молодых, просвещенных людей, окончивших университет. На место здешнего старого газзана был назначен молодой. Старик озлился и будет очень рад с нами побеседовать.

Арабская сказка встретила нас, когда мы вышли на улицу искать дом старого газзана. Тополи ханского дворца при луне высятся до самого неба, по улице идут женщины в белом, как привидения, в звуках струйки фонтана узнаешь начало всей нашей музыки. Где-то в дремлющих темных заулках мы разыскали большой старый дом и вошли на его двор, окруженный покосившимися зданиями со стеклянными галлереями. На дворе, освещенном только луной, в этом хаосе деревянных развалин мы долго искали чего-нибудь, похожего на вход. Наконец, сверху, в стеклянной галлерее, раздался стук деревянных башмаков, и свесился к нам горбатый силуэт старухи; она и привела нас к газзану. Неожиданно, как домик в глухом лесу, была эта опрятная комната караимского газзана. Старая, скромная скрипящая мебель, картины с библейскими сюжетами, — все было похоже на обстановку какого-нибудь нашего провинциального батюшки, только свиток пергаментной торы на столе под стеклянным колпаком предсказывал, что арабская сказка все еще продолжается.

Старый отставной газзан вышел к нам в одежде, очень похожей на костюм французского адвоката, в черном, длинном, с пелеринкой, благообразный, туго седеющий старик, с черными глазами-кулачками на выкате и с красными веками. Корреспонденту было очень легко сказать о себе: он пришел узнать подробности несправедливой отставки газзана. Я же

постарался объяснить старику, что был увлечен видом караимского мертвого города и пожелал иметь о караимах живое свидетельство. Мои почтительно выраженные слова понравились газзану. Старик снимает с торы стеклянный колпак и, развернув древний пергаментный свиток пятикнижия Моисеева, гордый обладанием священной древности, молча указывает мне на непонятные строки древнееврейского текста.

— «Непунктированное!»—произносит, наконец, старый газзан таинственное слово.

И, с любовью, гордостью и детски-старчески наивной верой глядя на текст, объясняет, что значит «непунктированное». Нынешние молодые газзаны не могут прочесть древнееврейский текст без особых пунктов, и потому теперь печатается текст пунктированный, а этот настоящий, старый список без пунктов, этот может прочесть только старый газзан.

Мостик от моего бескорыстного вопроса о караимской старине к вопросу корреспондента о деле отставки явился неожиданно, чудесно, как это может быть только у старых житейских людей. Наивное и мудрое, и благочестивое лицо газзана мгновенно покрылось сетью лукавых морщинок, и тихонько он сказал на еврейском жаргоне в сторону корреспондента:

— Der Junge kann nicht lesen.

Я хорошо понимал, что «Der Junge» это — газзан с университетским образованием, назначенный вместо старого. Я прямо спросил старичка: «Неужели человек, получивший образование на факультете восточных языков, не может прочесть непунктированной торы?»

— В университете этого нельзя выучить! — горячо воскликнул газзан, — нельзя и нельзя. Слово сказанное — не то, что писаное, писаное — не то, что печатное.

В доказательство он приносит груду образцов брач-

ных договоров от старых времен и до последних: старые были написаны красиво, старательно, украшены художественными виньетками, новые были напечатаны как вывески. — И так во всем, — говорил старый газзан, — все дело религии такое, молодой человек из университета не может прочесть «непунктированное».

Между брачными договорами был один новейший, о нем старый газзан рассказал печальную историю.

К старому газзану пришли бедные молодые влюбленные Рахиль Катык и Абрам Месаксуди. Их брат и сестра состояли в браке, и потому по обычному закону Рахиль и Абрам не могут сочетаться браком, но они уже сочетались в любви, им грозит большая беда. Добрый старый газзан пожалел молодых людей. Кстати, в Пятикнижии Моисеевом нет запрещения таких браков, а Пятикнижие больше обычных законов. Пусть будет, что будет, газзан идет навстречу жизни и закона Моисея, он венчает Рахиль Катык и Абрама Месаксуди. Тогда-то гахам Помпулов — жестокий человек! — отдает старого газзана под суд и просит судей приговорить его к смертной казни. Но окружной суд не находит преступления и не приговаривает газзана к смертной казни. И вот пример, вот доказательство, какой жестокий человек был Помпулов: прямо на суде, в присутствии коренных судей, украшенных золотыми цепями, выслушав оправдательный приговор, гахам, духовный вождь караимского народа, бросается на бедного священника с палкой...

Со слезами дальше рассказывал газзан, как его уволили и разлучили с общиной и назначили молодого, безбородого, безусого университетского газзана, не умеющего даже читать по непунктированному...

Когда мы вышли на улицу, попрежнему освещенную арабской луной, корреспондент сказал:

— Вы знаете, за что его хотел бить и даже предать

смертной казни гахам Помпулов? Этот старый газзан совершил очень редкое у караимов преступление: взял за исполнение брачного договора Рахили и Абрама три тысячи. И все, что он говорил о Пятикнижии, все это верно, но только маленькая поправка: три тысячи.

III

На другой же день меня привели к молодому газзану, окончившему два факультета. Он был тоже в костюме французского адвоката, но вокруг его дома не было уже арабской сказки, в комнате не было пергаментной непунктированной торы, стол был завален корректурами, и единственный признак в комнате связи молодого человека с прошлым, это — на столе, за корректурами, портрет гахама Помпулова с надписью: «Помпулов, потомственный дворянин, духовный вождь караимского народа». Этот «дворянин», поставленный на первом месте, был получен Помпуловым за низкие поклоны перед русским правительством, за всю эту хитрую политику, состоявшую в том, чтобы всеми правдами и неправдами скрыть близкое родство караимов с евреями, неутомимо льстя и угождая властям, отвлекать их от гонений, постигших еврейский народ. И так он стал потомственный дворянин и вождь действительно избавленного от возможных бедствий народа. Но под конец своей жизни Помпулов понял, вероятно, что эта политика—на ложном пути, нельзя жить теперь народу без общения с миром, понял и стал назначать в священники молодых, европейски образованных людей. И вот этот новый караимский священник сидит теперь за столом с корректурами.

— Это ваше богословское сочинение? — спросил я газзана.

— Нет, это моя беллетристика, я беллетрист.

Восточный ученый человек, я уже давно замечал, похож всегда на мудрую птицу филина: сидит себе на своем сучке, смотрит круглыми глазами и думает все как-то по-своему. Удивительно было мне слышать от священника иудейской секты, что он беллетрист. Я спросил, какая же форма его беллетристики: рассказ, роман, комедия, трагедия...

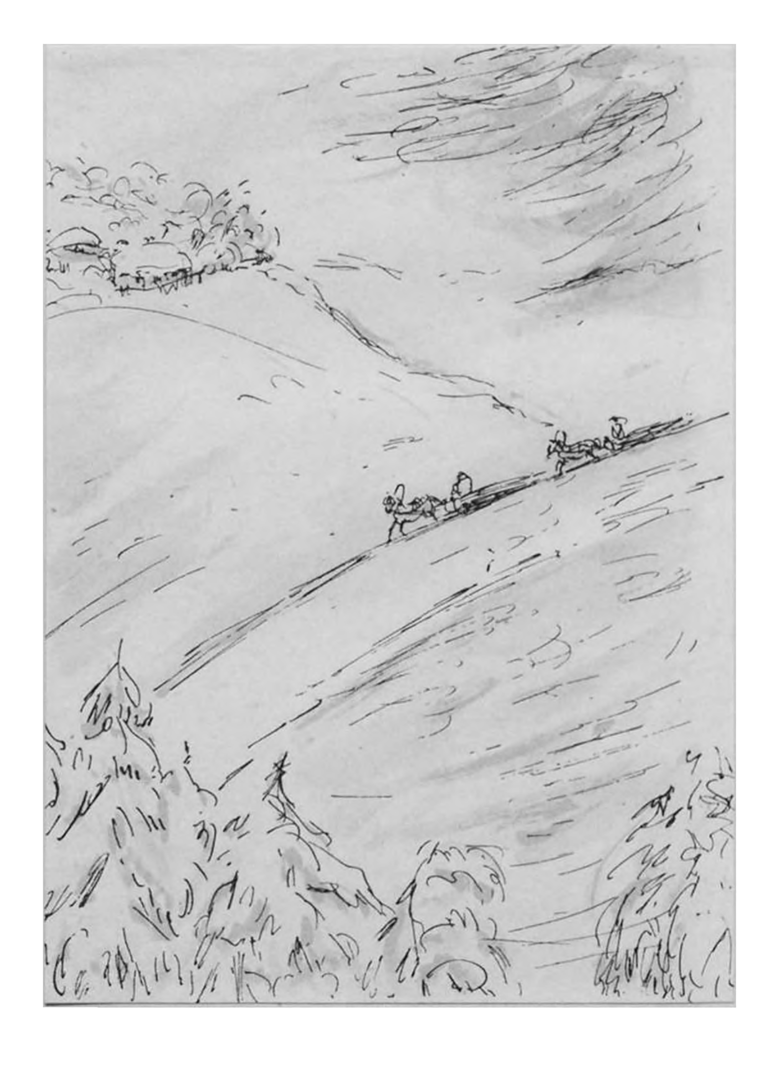
— Я описываю жизнь, — ответил газзан, — а жизнь не комедия, не трагедия, форма моих произведений — трагикомедия.

Он рассказал содержание своей последней трагикомедии». Герой драмы, молодой образованный газзан, хочет спасти караимский народ, и перед ним две одинаково гибельные дороги: по одной пойдешь, погубишь народ в его заключенности, по другой — грозит, как и евреям, ассимиляция, потеря национального облика.

Я, конечно, спросил, почему же газзан эту настоящую трагедию называет трагикомедией, но он как-то не сумел этого объяснить.

— Была бы трагедия, если бы выход был, но выхода нет для героя, получается и трагедия, и комедия.

Мы занялись подбором лучших сочинений о караимах, справлялись в словаре, делали выписки, как делают это в библиотеке, и за этой работой я даже совершенно забыл, что нахожусь в необыкновенном городе. Только время от времени попадались мне на глаза корректуры «трагикомедии» и над ними лицо хитрого, умного, верующего старика с удивительной надписью: «Помпулов, потомственный дворянин, духовный вождь караимского народа».



Н А О Х О Т Е

Ленин на охоте
Гон
Сердце зимы
Солнцеворот
Милостью леса
Архары
Орел
Болото

ЛЕНИН НА ОХОТЕ

Ошибка Вани

Шестой год мои летние наблюдения в Московской и Владимирской губерниях (Ленинск — Переяславль — Сергиев) вертятся около знаменитого утиного озера-болота, и все почему-то я никак не могу собраться побывать на этом «Заболотье». Причина этому: обычное равнодушие охотника с подружейной собакой к утиной охоте. А болото теперь уже не просто охотничье, это историческое место: тут Ленин был на охоте. Буденный принял шефство над селом Константиновым, которое лежит тут в центре бекасиных охот. Я отправился в этот край Дубенских болот за бекасами, не загадывая собирать легенды и факты о пребывании Ленина в утином этом краю. Из Константинова в Сергиев на каждый базар возят яблоки. Утром, разыскав себе подводу, я сговорился с Ваней ехать в Посеево, когда он распродаст свои яблоки. Часа в три дня я был с собакой своей и ружьем возле «Дома крестьянина». Ваня тут еле на ногах стоял.

— Эх, Ваня, Ваня, как-то мы теперь доедем с тобой!

— Доедем, товарищ!

Ваня, деревенский комсомолец, беседовал не раз с самим Лениным, когда был еще мальчиком.

— Верно, Ваня, не в прок пошла тебе наука Ильича?

Простодушный Ваня согласился:

— Фа-акт!

И стал сваливать все на Госспирт.

— Врешь, — говорю, — это не потому: наверно и до того пил самогонку?

Пришлось и с этим согласиться:

— Ясно!

Мы сидели на грядке телеги, свесив ноги. Чтобы в этом положении видеть лошадь и дорогу, надо постоянно повертывать туда голову и не забываться: особенность нашей телеги. Случилось около одной большой колдобины Ваня не досмотрел, колесо скользнуло, телега сильно наклонилась, мы плашмя ляпнулись в грязь, и через нас перелетела собака.

Досадно стало.

— Эт, ты, Ваня..

— Ошибка вышла,—сказал он,—больше не буду.

— Ну, да, не будешь, давай вожжи, бери собаку.

— Не буду, не буду, виноват, простите, сам же Ильич говорил: «на ошибках мы учимся».

— Брехун ты порядочный, не учил же тебя Ильич водку пить.

Согласился и, почесав затылок, сказал:

— Фактически!

Так мы ехали шагом, три-четыре версты в час непрерывными лесами до Посеевки, откуда начинались знаменитые когда-то охотничьи угодья, арендатором которых был англичанин Мерилиз. В темноте мы подъехали к дому Алексея Михайловича Егорова, который был двадцать лет егерем у Мерилиза и, как оказалось потом, охотился с Лениным.

У егеря

Всю жизнь слышал «Мюр и Мерилиз» и представлял себе это немецкой четой: Мюр — супруг, Мерилиз — его дама. И тут оказывается: Мерилиз — мужчина, англичанин и страстный охотник. Он снимал огромное пространство болот и лесов, много охотился,

но всегда в меру, за раз больше восьми тетеревей не стрелял и, если собака делала стойку по девятому, — отзывал ее и отправлялся домой. Не жалел денег, в каждой деревне держал сторожа. Дичь размножалась, кишела в этих местах.

Выполняя свое дело, каждый охотник большой индивидуалист: каждому хочется выучить лучше другого свою собаку и обстрелять своего товарища. Но основа души настоящего природного охотника, получившего прививку этой страсти в детстве, хранит стихийный коммунизм. Только этим и объясняется, что на охоте сходятся как друзья люди самых разнообразных жизненных положений. Так сошлись между собой богатый англичанин Мерилиз и бедный русский мужик Егоров. Теперь, когда егерь рассказывает о конце своего хозяина, жена его плачет, и дети сидят, повесивши нос. После трудной операции Мерилиз уже не мог ходить по болоту, но до самого конца все-таки охотился. Выдумал с своим егерем натаскать собаку так чтобы она сама, без хозяина, обегала большие пространства. Собака ищет. Мерилиз сидит на стуле и наблюдает. Собака делает стойку. Охотник, поддерживаемый своим егерем, еле передвигая ноги, приближается: дупель крепко сидит и собака надежная...

В прежних барских охотах егеря обыкновенно баловались и делались хамами. Но англичанин иначе воспитал своего егеря. Алексей Михайлович и с малоопытным и небогатым охотником будет теперь весь день ходить и виду не покажет, только бы начинающий охотник любил свое дело. Может быть, с таким охотником он не пойдет в другой раз, но все мы кормимся своим ремеслом.

С первого слова, с первого взгляда на мою собаку Алексей Михайлович почуял мою природу, и только успели мы поздороваться, вступаем с ним в продолжительную беседу на тему, кто умней — куропатка или

же тетерев. Взвесив все, мы решили, что тетерев много умней. Правда, глуповата куропатка: приладится зимой и летает все на то же самое место, и она утром только, бывает, собирается вылетать, а ястреб уже дожидается ее на дереве.

— Тетерева, — рассказывал егерь, — много умней. Сели раз тетерева всей большой стаей на березовые почки, стали клевать. Вдруг ястреб, и вмиг все бросились вниз и зарылись в снегу. Ястреб—за ним и вот ходит, вот ходит по снегу, и видел, и знает, что тетерева под ним, а нет того, чтобы покопать, очень умен на другое, а это ему не дано. Ходит и ходит, а те лежат. Так тетерева, а куропатка от ястреба только голову в снег, — хвост на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.

Так, беседуя, мы высидели незаметно далеко за полночь.

— Я вас, — сказал Алексей Михайлович, — отведу спать на сено в сарай, на то самое место уложу, где и сам Ленин спал.

— Как Ленин?

После того долго еще пришлось посидеть, слушая рассказы этого охотника о Ленине.

Первая встреча

— Сразу узнал, — сказал Алексей Михайлович.

— По портрету?

— По карточке, да и так: взгляд серьезный. Все другие товарищи сидят просто, а у него взгляд.

— И не шутит?

— Ну, как же не шутит, смеется, а все-таки заметно, взгляд не такой.

— Не охотничий?

— Ну, какой Ленин охотник: ездил, конечно, на деревенскую жизнь посмотреть, отдохнуть.

«Не охотник» было сказано егерем почти с уважением, потому что очень уж много настрадался он от тех, кому хочется быть настоящими охотниками.

Да, вот тоже так не бывает с настоящими охотниками: собираются на охоту, и вдруг Ленина нет. Бросились в сад — нет, во дворе нет, на улице никто не видал. Ленин пропал, а ведь это не шутка. Долго искали, тревожились, пока, наконец, слух дошел: Ленин в Шеметове в совхозе сидит, с ребятами беседу ведет.

— И про охоту забыл, — сказал Алексей Михайлович, — а ведь у настоящих охотников так не бывает.

Ленин на тяге

Старый егерь терпеть не может револьверов, считает, что у охотника должно быть одно ружье. Но по тому времени считалось, что необходимо ходить с револьвером: опасное было время. Так и они с Лениным взяли по револьверу и пошли в лес на вальдшнепов.

Известно, как тянут вальдшнепы, каждый год вдоль такой-то просеки, у такой-то березки завертывают, и тут одна линия пересекается с другой, и кто знает эту березку от прошлого года, стань тут в новом году, и непременно весь вальдшнеп пойдет через тебя.

Возле такой замечательной березки егерь поставил Ленина и сам отошел, но все-таки устроился, чтобы ему видно было Ленина.

Опытный охотник не ошибся, конечно; только успели расставиться, раздается «цик» и «хор», показывается вальдшнеп и через голову Алексея Михайловича прямо тянет на Ленина. Что с ним? Не слышит ли, или обмахнулся слухом, ждет с другой стороны?

Владимир Ильич!

Оглянулся, поднимает ружье, выстрелил и вдруг повалился навзничь.

Егерь бросился.

— Что с вами, Владимир Ильич?

Поднимается. Вышло это, верно, оттого, что он поспешил, плохо ружье прижал к плечу, оно его толкнуло, попятился, а там назади пенек под ногу, и повалился.

«Ну, — подумал егерь, — так много вальдшнепов не убьешь», — и стал рядом. Ленин не гонит. Вот опять тянет вальдшнеп. И тут Алексею Михайловичу вдруг пришла в голову одна счастливая мысль. Ведь это известно всем охотникам, что если выстрелить одновременно двум стрелкам, то каждый из них не будет слышать выстрела соседа: свой выстрел у самого уха все заглушает. Это известное и положил егерь в основу своего загада. Ленин целится, и егерь целится. Вместе ударили. Вальдшнеп упал. Прекрасный загад: конечно, Ленин не мог слышать выстрела. Побежал подымать, а ружье-то продуть и забыл. Эх, дурень ты, дурень, старый Алексей, чтобы тебе дунуть в кустах, когда подымал вальдшнепа! Несет теперь добычу Ленину, поздравляет:

— Ловко ударили, с полем, Владимир Ильич!

— Спасибо, Алексей Михайлович, — отвечает Ленин, — только отчего же у тебя ружье-то дымится?

Сам смеется, закатывается, как ребенок.

— Ну, ничего, — говорит, — ничего, становись рядом, давай вместе стрелять.

Стали рядом. Стреляли вместе. И за вечер семь штук убили без промаха.

Примус

Мерилиз очень любил егеря и жил с ним хорошо целых двадцать лет. Конечно, такому охотнику не понравилось, когда все стали бить лосей и в какой-нибудь год истребили их совершенно. Но ведь так

же было тогда и со всяким хозяйством. Степенным мужикам-хозяевам казалось, что кто-то сознательно грабит, кому-то это на пользу, и в чьи-то руки все попадает. А более развитым обывателям казалось, что если и не попадает никому ничего в руки, то все-таки кто-то наверху во всем виноват.

Обменявшись с Алексеем Михайловичем разными скорбными мыслями об истреблении лосей и хозяйственном разорении того времени, я спросил его:

— А как вы думаете, виноват ли Ленин был во всей этой разрухе?

— Нет, — ответил Алексей Михайлович, — я был у Ленина в Москве, все видел: у Ленина нет ничего.

Так это удивительно вышло и незаметно прошло: я сказал «виноват», а егерь на это ответил: «нет ничего».

И стал мне рассказывать очень подробно, как после одной охоты Ленин позвал его к себе в Москву в гости. Вот и выдумал однажды егерь поехать к Ленину в Москву и все посмотреть. Стал собираться обдуманно, это не шутка из такой глуши попасть прямо во дворец к Ленину. Конечно, представлялось, что в роде как бы к царю едет, но деревенского хлеба взял с собой все-таки порядочно; может быть, это только так говорил Ленин, а там к нему и не допустят, а может быть и дома не будет. Так ехал к Ленину в Кремль, а хлеба захватил. Но Ленин оказался дома, и егеря к нему повели сразу, как назвался. Вот открылась комната большая-большая и в роде как бы пустая. Может быть, там что и стояло, но комната была большая, и казалось, будто совсем-таки пустая. А в конце этой большой комнаты стоит ящик, на том ящике сидит Ленин и вот примус накачивает, вот накачивает...

Очень обрадовался, смеется.

— Чем же тебя угостить, Алексей Михайлович, хочешь кофей сварю, только не настоящий, овсяный?

Стали варить кофей. Поспело. Пошел Ленин, принес хлеба. Страшно смотреть было, какой хлеб: хорошей собаке не дашь.

Алексей Михайлович сказал:

— Извините, Владимир Ильич, что назовусь: я с собой деревенского хлеба прихватил...

— Давай сюда!

Пили овсяный кофе и ели хлеб. Три дня егерь кормил Ленина своим хлебом.

Закончив рассказ свой, Алексей Михайлович сказал:

— Вроде как сон и сейчас часто вижу: комната большая-большая, в конце ящик и на ящике примус. «Значит, — спросил я, — Ленин не виноват?» — «Нет, — ответил русский мужик, — чем его виноватить: у него нет ничего».

Было уже очень поздно. До свету оставалось всего часа два.

— Здесь спать ляжете? — спросил хозяин, — или на сене?

— Веди в сарай.

— Вот и Ленин тоже: любил спать на сене.

Я ночевал в сарае, где ночевал и Ленин: сарай все такой же, и едва ли хоть на одну морщинку переменился неутомимый егерь, переживший и Мерилиза и Ленина. Я лежал в том же самом углу, где и Ленин лежал, на том же самом месте, все было точь-в-точь, как и тогда, но только Ленина нет больше в живых, и сено другое.

ГОН

Пришел ко мне Федор из Раменья, промысловый охотник. Раменье недалеко от Москвы, всего несколько часов, и все-таки сохранились тут настоя-

щие промышленники, всю зиму только и занимающиеся охотой на лисиц, зайцев, белок и куниц. Занятые люди, и среди них этот Федор, по мастерству своему — башмачник, ему охота, конечно, невыгодна, да вот поди, рассуди людей.

Федор прослышал, будто у нас лисиц много развелось, пришел ко мне проверить, привел своих собак, известных в нашем краю, один Соловей, другой называется вроде как бы по-французски — Р е с т о н.

Соловей — великан смешанной породы: костромича, борзой, дворняжки—все спуталось, и получилась безобманная промысловая собака: лисиц с ним хочешь стреляй, а хочешь — так бери, если только не успеет занориться, непременно загоняет и не изорвет, а сядет против нее и бумкает, охотник приходит и добивает.

От Соловья выходят щенки, с виду совершенно дворные, но в работе прекрасные, ходят и по зайцам, и по лисицам, и по куницам, забираются в барсучьи ходы и там, под землей глубоко, гонят, как на земле, еле слышно, и кто этого не знает, очень удивительно и почему-то даже смешно.

Федоровская порода известная.

Последний сын Соловья, кобель по второму полю, особенно умен, но вид... бери и на цепь сажай двор караулить.

Московские охотники только головами качают.

— Это не собака!

Да так и зовут:

— Шарик.

Я сам зову этого лохматого, рыжего, совершенно дворного кобеля Шариком, но не потому, что презираю, как москвичи, Федоровскую породу, а просто язык не повертывается назвать такого демократического кобеля А р и с т о н о м.

Какие-нибудь тертые егеря барских времен, наверно, сбили Федора на древне-греческое имя, но мужицкий язык оживил мертвое слово, стало что-то в роде ренессанса: Рестон, и дальше рациональное объяснение: Рестон, значит резкий тон, с советским упрощением — рез-тон.

Ну, вот, под седьмое число октября месяца приходит ко мне Федор, с ним Соловей и этот рыжий Шарик. Наши деревенские охотники все, у кого есть хоть какое-нибудь ружьишко, с вечера объявились и назвались вместе итти. А не охотники всю затею всерьез приняли и просили:

— Волка убейте!

Всем этим охотникам родоначальник сосед мой слесарь Томилин, человек лет за сорок, семья — девять человек, не прокормишь же всех лужением самоваров да починкой ведер, вот он и занялся еще и ружьями, собирает из всякого лома и особенно хвалится своими пружинами.

Изредка я очень люблю эти деревенские охоты, но держусь всегда в стороне, потому что каждую охоту непременно у кого-нибудь разрывает ружье. Да и не мудрено, простым глазом издали видишь, как сверкают там и тут на стволах заплаты на медном припое. У одного даже и курок на веровочке: взлетает вверх после выстрела и потом висит. Но это им ни по чем, и что ружья в цель не попадают — тоже ничего, только бы ахали...

В особенности страшны мне шомполки, заряженные с прошлого года, в начале охоты их обыкновенно всем миром разряжают в воздух, и потом, когда хозяин продувает дым, и он, синий, выходит не только в капсюль, а фонтаном во все стороны, все хохочут и говорят:

— Решето!

— Отдай бабе муку отсевать.

И так сами над собой все потешаются. Очень бывает весело, и у меня всегда является представление о тех отдаленных временах, когда также деревнями охотились на мамонта. Я думаю, у нас даже лучше: там огромное животное, наверно, к чему-то обязывает, но у нас предмет охоты иногда листопадник-белячок, величиной в крысу, ни к чему не обязывает, а радости охотничьей и хлопот все равно, как и за мамонтом. И так славно бывает, когда на выходе тот охотник со взлетающим курком погрозится в лес этому невиданному мамонту и скажет:

— Вот, погляди, я тебе галифе отобью!

Конечно, если бы настоящий мамонт, непременно бы кто-нибудь сказал:

— Не хвались, как бы он тебе галифе не отбил

Но тут просто:

— Ты лучше гляди, не улетел бы курок.

И какое волнение! Мастер Томилин перед охотой встает часа в два ночи, проверяет погоду. Я это слышу, встаю и ставлю себе самовар.

Три часа ночи.

Мы с Федором чай пьем. Видно напротив, что и Томилин с сыном чай пьют. Разговор у нас о зайце, что хуже нет разыскивать в листопад — очень крепко лежит.

Четыре часа.

Чай продолжается. Разговор о лисице, какая она, сволочь, хитрая. Сотни примеров.

В пять часов решаем вопрос, как лучше всего выгнать дупляную куницу. Решаем: лучше всего лыжей дерево почесать, она подумает — человек лезет, и выскочит.

В окне начинается белая муть рассвета. Охотники все собрались под окном и на лавочке тихо беседуют.

Подымаемся. Среди нас нет ни одного из тех досадных людей, кто вперед перед всяким делом обще-

ственным думает про себя, что ничего не выйдет, плетется хило и слегка оживает, когда против ожидания вышло удачно.

И даже эта тяжелая муть осеннего рассвета не смущает нас, напротив, едва ли кто-нибудь из нас променял бы это на весенний соловьиный дачный восход.

Только поздней осенью бывает так хорошо, когда после ночного дождя с трудом начинает редеть ночная мгла, и радостно обозначится солнце, и падают везде капли с деревьев, будто каждое дерево умывается.

Тогда шорох в лесу бывает постоянный и все кажется, будто кто-то сзади подкрадывается. Но будь спокоен, это не враг и не друг идет, а лесной житель сам по себе проходит на зимнюю спячку.

Змея прошла очень тихо и вяло, видно, ползучий гад убирается под землю. Ей нет никакого дела до меня, чуть движется, шурша осенней листвой.

До чего хорошо пахнет!

Кто-то сказал в стороне два слова. Я подумал, это мне кажется так, слух мой сам дополнил к шелесту умирающей природы два бодрые человеческие слова. Или может быть чокнула неугомонная белка? Но скоро опять повторилось, и я оглянулся на охотников. Они все замерли в ожидании, что вот-вот выскочит заяц из частого ельника.

Где же это и кто сказал?

Или может быть это идут женщины за поздними рыжиками и, настороженные лесным шорохом, изредка очень осторожно одна с другой переговариваются.

— Равняй, равняй! — услыхал я над собой высоко.

Я понял, что это не люди идут в лесу, а дикие гуси высоко вверху подбодряют друг друга.

Великий показался, наконец, в прогалочке между золотыми березами, гусиный караван, сосчитать бы, но не успеешь. Палочкой я отмерил вверху пятнадцать

штук и, переложив ее по всему треугольнику, высчитал всего гусей в караване больше двухсот.

На жировке в частом ельнике изредка раздавалось «бам»! Соловья. Ему там очень трудно разобраться в следах: ночной дождик проник и в густель, и сильно подпортил жировку.

Этот густейший молоденький ельник наши охотники назвали чемоданом, и все уверены, что заяц теперь в чемодане.

Охотники говорят:

— Листа боится, капели, его теперь не спихнешь.

— Как гвоздем пришило!

— Не так в листе дело и в капели, главное, лежит крепко, потому что начинает белеть, я сам видел: галифе белые, а сам серый.

— Ну, ежели галифе побелели, тогда не спихнешь его в чемодане, как гвоздями пришило.

Смолой, как сметаной, облило весь ствол единственной высокой ели над густелью, и весь этот еловый чемодан был засыпан опавшими березовыми листочками, и все новые и новые падали с тихим шопотом.

Зевнув, один охотник сказал, глядя на засыпанный ельник:

— Комод и комод!

Зевнул и сам мастер Томилин.

С тем ли шли: зевать на охоте!

Мастер Томилин сказал:

— Не помочь ли нам Соловью?

Смерили глазами чемодан, как бы взвешивая свои силы, пролезешь через него или застрянешь.

И вдруг все вскочили, решив помогать Соловью.

— Пролетарня, соединяйся!

И ринулись с криком на чемодан, сверкая на проглянувшем солнышке заплатами чиненых стволов.

Всем командир мастер Томилин врезался в самую

середку, и чем его сильней там кололо, тем сильней он орал.

Все орали, шипели, взвизгивали, взлаивали: нигде таких голосов не услышишь больше у человека и, верно, это осталось от тех времен, когда охотились на мамонта.

Выстрел.

И отчаянный крик:

— Пошел!

Первая, самая трудная часть охоты кончилась, все равно, как если бы фитиль подложили под бочку с порохом, целый час он горел и, вдруг, наконец, порох взорвался.

— Пошел!

И каждому надо было в радости и в азарте крикнуть:

— Пошел, пошел!

Уверенный и частый раздался гон Соловья и после него, подвалив, Шарик ударил, Рестон, действительно, очень резко: рез-тон.

Вмиг вся молодежь, как гончие, не разбирая ничего, врассыпную бросается куда-то перехватывать, и с нею мастер Томилин, как молодой — откуда что взялось — летит, как лось, ломая кусты.

Таким никогда не подстоять зайца, но может быть им это и не надо, их счастье — быстро бежать по лесу и гнать, как гончая.

Мы с Федором, старые воробьи, переглянулись, улыбнулись, прислушались к гону и, поняв, куда завертывает заяц, стали: он тут на лесной полянке перед самым входом в ч е м о д а н, я немного подальше на развилочке трех зеленых дорог, между старым высоким лесом и частым мелятником.

И едва только затих большой, как от лося, треск кустов, ломаемых на бегу сорокалетним охотником, далеко впереди на зеленой дорожке, между большим

лесом и частым мелятником, мелькнуло сначала белое галифе, а потом и весь серый обозначился: ковыль-ковыль, прямо на меня.

Я смотрел на него с поднятым ружьем через мушку: мамонт был самый маленький белячок из позднышков-листопадников, на одном конце его туловища, совсем еще короткого, были огромные уши, на другом—длинные ноги, такие, что весь он на ходу своим передом то высоко поднимался, то глубоко падал.

На мне была большая ответственность—не допустить листопадника до чемодана и не завязить там опять надолго собак, я должен был убить непременно этого мамонта. И я взял на мушку.

Он сел.

В сидячего я не стреляю, но все равно ему конец неминуемый, побежит на меня — мушка сама станет вниз на передние лапки, прыгнет в сторону — мушка мгновенно перекинется к его носику.

Ничто не может спасти бедного мамонта.

И, вдруг..

Ближе его из некоси мелятника показывается рыжая голова и как бы седая от сильной росы.

— Шарик?

Я чуть было не убил его, приняв за лисицу, но ведь это же не Шарик, это лисица...

И все это было в одно мгновенье, седая от росы голова не успела ни продвинуться, ни спрятаться. Я выстрелил, в некоси заворошилось рыжее, вдали мелькнуло белое галифе.

И тут налетели собаки...

Налетел Федор. С ружьем на перевес, как в атаке, выскочил из леса на дорожку мастер Томилин и потом все, сверкая заплатами ружей. Сдержанные сворками собаки рвались на лисицу, орали не своим голосом. Орали все охотники, стараясь крикнуть один громче другого, что и он видел промелькнувшую

я густели лисицу. Когда собаки успокоились, и молодежь умолкла, осталась радость у всех одинаковая, как будто все были один человек.

Федор сказал:

— Шумовая.

Мастер Томилин по-своему тоже:

— Чумовая лисица.

СЕРДЦЕ ЗИМЫ

Я поселился на береговой горе самого большого озера в средней России в пустынном доме, обвеянном сказаниями суеверных людей о чертях, стерегущих клады, зарытые будто бы в этой горе. Я рассчитывал, что поживу здесь только лето, но вышло не так, как думалось: явились сюда географы для исследования озера, странные какие-то люди, и заманили жить здесь круглый год.

Географы, как я замечал, всегда странные люди, во всяком случае, не такие, как все мы, устраивающие свою жизнь так, будто земля неподвижная и плоская; географы живут на земле, как на корабле, мчатся вокруг солнца, и им, конечно, жизнь наша представляется иначе...

И все молодые люди этой экспедиции были очень странные, только начальник их, пожилой, седеющий профессор, очень здоровый, неутомимый человек, был как будто совсем и не похож на географа: веселый, обыкновенный человек. Мы с ним сговорились устроить в этом доме географическую станцию, и я соглашался взять на себя для начала дела роль и наблюдателя и коменданта. Перед отъездом студенты перетащили в мою комнату все многочисленные географические инструменты и приборы, профессор дал слово, что через неделю непременно вернется

с бумагой о моем назначении, даст инструкции для наблюдений и научит обращаться с приборами. Это было в июле, теперь зима, профессора все еще нет. Инструменты лежат в углу запыленные, без употребления. Профессор оказался, как все географы, тоже странным человеком...

В ожидании профессора я стал делать наблюдения по-своему. Мне пришло в голову, что раз меня в географии интересует только воспитание в себе чувства жизни, как движения, то не все ли равно, буду я наблюдать точным научным способом или же как мне самому представляются ежедневные изменения в виде солнца, месяца, озера, вообще пейзажа и жизни человека, близкого к природе. Ведь и при таком наблюдении непременно получится сегодня не как вчера, и завтра я тоже отмечу новый этап в движении нашей планеты. Я стал изобретать свои методы наблюдений, учиться давать верные и яркие характеристики проходящим дням. Несколько недель я путался, боролся сам с собой, как всегда бывает при начале нового дела, но мало-по-малу вошел в колею, и мне стало, будто я путешествую, а корабль мой — планета Земля.

Я брал для записей разные мелочи, какие мне только попадались на глаза, и сегодня это пустяки, а завтра из сопоставления с другими новыми мелочами получалась картина движения планеты. Вчера кипела жизнь в муравейнике, — сегодня они убрались в глубину своего государства, и мы отдыхаем в лесу на муравьиной куче, как в американском кресле. Вчера ночью мы ехали на санях закрайком озера, слышали с незамерзшей его стороны разговор между собой лебедей, в морозной пустынной тишине лебеди казались нам какими-то разумными существами, и у них был какой-то очень серьезный совет. Сегодня лебеди улетели, и мы разгадали совет лебедей — они сговари-

вались об отлете. Я записал тысячи трогательных подробностей, сопровождавших странствование вокруг солнца нашей вертящейся планеты: и как шумела черная, наполненная ледяными иглами вода о ледяные закрайки, и как в солнечный день сверкали плавающие льдинки, и как последние чайки обманывались, принимая их за рыбу, и как однажды ночью в тишине совершенно прекратился шум озера, и только гудела телефонная проволока над мертвой равниной, где вчера кипела такая сложная жизнь.

Теперь я не раскаиваюсь, что остался здесь зимовать, и не очень досадую на географа, что он не научил меня обращению с приборами. Не всякий может достать себе дорогие приборы, но как я делаю, доступно каждому: прокладываю путь для множества людей, разбросанных в степях, в лесах и пустынях необъятной страны, — воспитанных на плоскости, в неподвижности томящихся узким своим кругозором... Всего ведь какие-нибудь десять минут в день для характеристики проведенного дня, и через несколько месяцев получается новая картина движения жизни и единственная, потому что жизнь не повторяется, путешествие наше вокруг солнца каждый год совершается по-иному.

В предрассветный час иногда зарождается мороз, определяется направление и сила ветра, и потому, если хочешь понять, как сложится день, непременно надо выйти из дома и наблюдать предрассветный час. От моего жилища до крутого обрыва озером всего двадцать шагов, тут я стою, наблюдаю, как по диску луны перемещается тончайшая веточка осины, другая проходит, третья, этот осинник, как бы шерсть земли, в которой запрятался я, и эти веточки, отдельные шерсточки, проходя по диску луны, открывают мне движение планеты — любимый мой опыт и, кажется, единственный, позволяющий видеть глазами движе-

ние... Так легко на этом высоком кряже в пустынный предутренний час забыться от неверного, нажитого с детства представления жизни на неподвижной плоскости и чувствовать себя пассажиром огромного корабля на точке его, обозначенной меридианом и параллелью. Да, я пока пассажир, но пройдет большое время, и это мой же собственный дух, перемещенный в другого, через тысячу жизней вперед поведет этот корабль от потухающего солнца к какому-нибудь более горячему светилу...

Сильный ветер порывом налетел, закачал осины и спутал видимое движение. Но все равно, видно или не видно глазами, земля несется в пространстве. Ветер сильнеет. Деревья начинают стучать друг о друга оледенелыми сучьями. Каждые десять минут на рассвете температура падает на полградуса, и вот уже становится невыносимо стоять на мостике будущего капитана земли: пятнадцать при сильном ветре. Восход начался в красных мечах.

На пять минут я забежал домой поставить самовар и, когда вернулся, мечей уже не было, солнце закрылось, и по всему озеру бежали дымки метели, обнажая местами темный лед. Пока не замело еще ночные следы зверей, я спешу на лыжах проверить волка, стерегущего мою охотничью собаку, и скоро нахожу в кустах отпечатки его хорошо знакомых мне лап, и лисица была, оба подходили к могиле моей собаки и тормошили обглоданные кости. Я догадываюсь что волк — глубокий старик, потому что всегда держится отдельно от стаи; у них уж такой порядок заведен: если остарел, зубы плохи и не поспевают за молодыми, работай отдельно. Такой волк занимается больше собаками и зато у охотников называется собашником. Из-за этого проклятого собашника я дрожу каждый раз, когда мой Соловей погонит ли-

сицу и выйдет из слуха. Рассматривая следы, я говорю: «Погоди, любезный, вот скоро я доберусь до тебя, попробуешь ты моего горошку». След идет из Брусничного оврага в поле, а там несет и так удивительно наметает на след, что он становится выпуклыми, далеко видными шишками с точным изображением пальцев, когтей, будто из гипса по форме отлитыми. Некоторое время я иду по шишкам, но капризная метель вдруг как будто не захотела, чтобы я проник в звериные тайны, и совсем начисто перемела.

На обратном пути я вспомнил лисий след и на случай пробую его обойти: в метель лисице очень удобно залечь в этом овраге. Я иду по кругу, считая входные и выходные следы, и не знаю до самого последнего шага, смыкающего начатый круг, тут она или вышла. Под конец между мной и начальным следом — плотный кустик можжевельника, и тут уже все мое, сердце начинает биться, я обхожу кустик: выходного следа нет, круг сомкнут, и я владею значительной тайной прилегающей к моему дому местности, что в этом небольшом отъемчике спит грозный враг моих тетеревей и куропаток.

Теперь, когда все кончено, мне хорошо известна история ее ночных похождений. Вчера в сумерках она охотилась за тетеревами, которых летом я не стрелял, берег, чтобы слушать весной с крыльца токование. Всего их тут шесть: две серых тетерки и четыре петуха, краснобровых и с лирами. Снег уже такой высокий, что они могли доставать снизу ветки можжевельника, они бродили тут весь день и везде между кустами оставили на снегу прелестные цепочки своих следов. Под вечер они тут же и зарылись в снегу, каждый сделал себе в сугробе отличную комнатку с маленьким окошечком вверх для дыхания. Лисица еще в сумерках, вероятно, по цепочкам следов подобралась к спальням и схватила одного петуха,

На снегу осталось множество перьев, и дальше долго все капала кровь. Лисица хорошо наелась, свернулась калачиком на большой, широкой как стол, моховой кочке, под снегом, будто под скатертью. Она была очень сыта и не пошла на утреннюю охоту, а главное ее остановила, должно быть, метель.

Лисица спит и не слышит, не знает, что на жизнь ее готовится заговор. Два охотника совещаются между собой, шепотом спорят и, наконец, решаются, пользуясь сильным ветром, срезать еще немного оклад. Им это удалось, теперь они берут по большой катушке и развешивают по окладу на кустиках шнур с красными флагами, идут в разные стороны, оставляя за собой магический круг, сходятся, торжествуют — лисица зафлажена, и это значит все равно, что взята.

Если захотеть, можно держать ее три дня и больше под флагами, потому что она слишком хитра по-звериному, но нехватает у нее одной крупинки человеческого, зачем человечьего, даже рысьего, даже медвежьего разума, чтобы плюнуть на всю затею охотников и махнуть через оклад. Но что говорить о лисице, сколько есть на свете таких людей с бегающими глазками...

Против одной маленькой, но очень плотной елочки, за которой так удобно спрятаться, охотники снимают немного шнура с флагами и так оставляют выходные воротца. Один охотник с ружьем наготове остается за елкой, у него безосечные патроны Элея и в каждом патроне двадцать четыре картечины, залитые парафином для кучности боя. Другой охотник вступает в круг с противоположной стороны, тихонько движется, наступает по входному следу — то чуть-чуть свистнет, то заломит замерзший сучок.

Лисица еще спит, еще не знает, что вокруг нее сомкнутая цепь флагов с единственным выходом через роковые воротца. Но слух у нее хорош и во сне.

Что-то свистнуло. Подымает голову. Треснул сучок. Встает. Еще послушала. Идет тихонечко, идет, идет...

— Стой, флаги.

Назад идет, трусит...

— Стой, флаги...

Осела. Прислушалась, совсем близехонько треснул сучок. Пошла скачками прямо на роковые воротца...

Стой. Неминуемо: скорее на часах зацепится стрелка о стрелку, чем дрогнет черная мушка, поставленная на рыжий бок...

Бывает охота по правилам и бывает по случаям. Я большей частью охочусь по правилам, а живу по случаям: не соберусь все как-то устроиться, все как-то жалко время терять на пустяки, жизнь так коротка... Можно ли благоразумному человеку забыться до того, чтобы, заехав в самое сердце зимы, не запастись дровами и довести свою кассу до того, что в ней осталось всего шестнадцать копеек. Но я живу по случаям не один год и за это время понял, как нужно вести себя, чтобы случаи повторялись: нужно встречать их всегда с веселым лицом... Знаю, как нелегко быть веселым, когда на сердце кошки скребут, но что же делать, если не можешь по правилам. Там вот, сгорела у меня последняя вязанка дров, а я пошел на охоту, вернулся с лисицей. Кто-то видел меня с лисицей, слух дошел до кошатника, и не успели мы шкурку снять, является и дает мне за нее денег на две с половиной сажени березовых дров. С кошатником я наказал приятелю своему охотнику дяде Михею, чтобы он непременно и как только можно скорее привез бы мне сухих дров.

Всю эту ночь бушевала метель и выдула дом совершенно. В предрассветный час вышел я наблюдать и сейчас же вернулся, — нечего наблюдать, кругом гудит, свистит, несет сверху и снизу, вмиг пронизыва-

ет до костей. А между тем, в этот час, наверно, дядя Михей, плотно поев, одевается и едет в лес за дровами. У него такого случая быть не может, чтобы одним выстрелом добыть себе две с половиной сажени, он не рассеянный, живет по правилам, заготовил дрова в лесу еще летом. Он продает их, чтобы не умереть с голоду, но сознает, что дело его большое, для всех важное, и если он ест кусок, то знает, что другой его же кусок люди едят... Заготовленные сухие дрова он продает, сам же топится сырыми, и потому в избе у него всегда холодно. Жить можно бы только на печке, да там только ребятишкам, да бабам места хватает, а дядя Михей спит в печке. Но тут уж я отказываюсь понимать эту жизнь в печке по правилам и живу, стараясь по возможности не обижать других, по случаям...

На рассвете еще слабо несло, только нос щекотало, лыжа тонула в снегу на пол-аршина, я посмотрел на дом со стороны и подивился: это не дом был, а какой-то Нансеновский Фрам в полярной стране, засыпанный, затертый, а вокруг белый курящийся зыбучий океан, далеко вокруг никакого жилья, никакого следа человека и даже засыпаны все звериные следы совершенно. Конечно, сегодня старухе не принесть молока из деревни. И дядя Михей, верно, пожалеет сначала свою лошаденку, потом, может быть, и себя. Что же делать-то? Одеваюсь, подпоясываюсь, беру топор, иду в лес, приволоку сам какое-нибудь сырье... В можжевельниках намело неправильные, островерхие, похожие на дюны сугробы, я провалился в одном по самую шею, барахтался, ознобил руки. А пока я бился в сугробе, вдруг встало белое во весь рост от земли и до неба. Казалось, белый охотник окладывает меня своим шнуром, я же так беспомощен и дивлюсь, зачем он хлопочет, — приди и возьми... Не миновать этой жути в природе, когда опускаются руки и если то-

нешь, то кажется гораздо легче тонуть, чем жить; если замерзаешь, то много приятней мерзнуть... из-за чего тут стараться, если годом раньше, годом позже, тыкаясь в зафлаженные стороны, подойдешь непременно к своим роковым воротам.

Странно увеличиваются в метель все предметы. Кустарник мне показался стеной высокого леса, и вдруг из него выскакивает зверь, высотой в пол-леса с ушами в аршин. Зверь летел прямо на меня так, что я даже для обороны взмахнул топором, но зайцу я показался наверно еще страшнее, чем он мне, и он сразу махнул в сторону. Вслед за ним показалось и то, что его подшумело, какая-то высокая башня, а из этого вышел дядя Михей и обыкновенным своим голосом говорит мне о зайце:

— Будь у меня палка в руке, я бы этого косого чорта забил.

Палкой он, правда, кажется больше их убил, чем из ружья.

— Ну, а как же дрова, дядя Михей?

— Свалил.

Не мог довести и где-то недалеко в поле свалил. Мы перевозим их на санках и сразу пускаем в ход во все печи. Из всех труб мой Фрам гонит дым, но он, как дым папироски, сразу и исчезает, как дым папироски, присоединяясь к белому, что стало от земли и до неба.

Когда в комнате мало-мальски согрелось, я записал свои наблюдения зимы: то белое красивое, что было до сих пор и всеми называется зимой, мне представилось только большим з а з и м к о м, а в сердце зимы мы вступаем только теперь. В этом сердце зимы мне все чудится, будто тот охотник окладывает нас и оставляет для каждого неизбежные роковые воротца.

Что же делать?

На смену из прежней теплой жалости к человеку встает холодная, как зима, решимость.

Дрова разгораются.

Я думаю:

— «Взял же когда-то человек в руку зажженное молнией дерево, стал у всех огонь, догадался же... Так и тут вероятно есть что-то простое, когда-нибудь догадаются и вдруг махнут через оклад.

СОЛНЦЕВОРОТ

Сколько в эту снежную зиму слетело с неба белых чистых пушинок, столько же, — не меньше! — матерных слов вылетело из уст обозного мужика, поставляющего строевой лес из глубины Переславль-Залесского уезда на станцию Берендеево. И чем больше летит снега, тем больше ругаются, потому что при встречах каждому хочется засадить в снег по шею не свою лошадь, а своего ближнего.

При хорошем своем настроении я не обращаю никакого внимания на ругань в обозе, а только измеряю глубину снега, толщину льда на озере, отмечаю всякое новое явление в жизни природы и так делаю свое радостное заключение о движении земли и мне кажется тогда, будто я путешествую вокруг солнца, и корабль мой — Земля. Я отмечаю каждый день новой характеристикой и воспитываю свое внимание к постоянному движению жизни, которая, протекая, никогда не возвращается назад в той же форме.

Но если случится какая-нибудь передряга в каюте моего корабля, или понездоровится так, что я не в силах любоваться слетающими с неба пушинками, я слушаю только ругань в обозе и, замечая, как она усиливается, тоже делаю заключение об утолщении снежного покрова, мешающего мужикам разъезжаться,

значит, тоже о постоянном движении планеты: все равно, куда ни смотри, на небо или на землю — мы движемся...

Мы все воспитались в сознании жизни на плоскости и в неподвижности, не учитывая в своей обыкновенной жизни головокружительный полет нашей планеты. Наши школьные географические познания мы отбрасываем, как не имеющие никакой рабочей ценности в нашей повседневной жизни. Я все думаю об этом, думаю, и мне кажется иногда, что моя работа над учетом и характеристикой каждого момента движения планеты, если я сумею раскрыть его человеку, воспитанному жизнью на плоскости, грандиозная. Мое путешествие на Земле будет называться Круглый год.

Из *подшефного* села учительница с мальчиком мне прислала «Известия». Я сказал мальчику:

— Какой у нас завтра праздник?

— Советский, — ответил мальчуган.

— Рождество — сказал я, — праздник христианский, при чем тут совет?

— Ну что ж...

— Как «ну что ж»! Будут у вас в селе праздновать?

— Не будем: они не хотят наше рождество праздновать, а мы ихнее.

— Дурачок, кто это *они*?

Я рассказал мальчику о движении земли вокруг солнца и о предстоящем завтра великом празднике Солнцеворота, означающем прибавление света и может быть разума. Мальчик, оказывается, все это слышал в школе и слушать еще раз географию ему неинтересно: пусть летит Земля, и прибавляется свет, веселиться они все-таки будут по-старому.

— «Он прав! — решил я, — географию надо сделать веселой, и тогда мы победим».

После этого разговора я записал себе для памяти,

что путешествие свое вокруг солнца я непременно должен описать весело.

Ночью была метель, я несколько раз выходил на двор — все метет и метет. Казалось, назавтра никак нельзя думать о волчьей облаве. Но случилось так, что матерая пара волков задержалась до света на приваде. Их кто-то подшумел на темнозорьке, они вышли на озеро и сели в раздумьи, куда им итти. Начальник нашей волчьей команды, великан Федя, с своим помощником, кассиром из казначейства, Дмитрием Николаевичем, подсмотрели их, сели в кусты и когда волки тронулись в нежеланную сторону, выскочили, поднажали и так вогнали в наш лес. Сытые волки недолго шли и улеглись недалеко от села, за коровьим кладбищем.

Хаживал я с Федей в оклад по глубокому снегу. В спешке за его шагом убьешься до того, что свалишься и, как собака, хватаешь ртом снег, и видишь как пар валит от себя, а великан подойдет и, упрекнув в малодушии, еще лыжей поддаст. Больше я не хожу с ним в оклад и прямо являюсь на номер стрелком.

Я никак не думал в этот день об охоте и вдруг за мной приезжают:

— Волки зафлажены!

Это значит, по окладу развешены флаги, и волки сидят в роковом кругу, дожидаясь стрелков. Если охотнику скажут «волки зафлажены», то он бросает все и спешит без памяти потому, что день очень короткий. Лошадей нигде не было, все возят лес, приехал за мной мальчик на жеребенке и почти-что на салазках. Но мы едем скоро и на жеребенке, пока встречный обоз не обрушивает нас в снежное море, и мы там, пропуская подводу, считаем ее за долгую версту. Пропустив обоз, попадаем на другой и опять версты

считаем. А день заметно бежит под уклон. Это одно из самых главных препятствий на волчьих охотах — короткий день, из-за этого часто не удается облава. Но мы в селе при хорошем свете, остается только верста до болота без встречных обозов.

И вот в селе при такой-то нашей спешке хозяин жеребенка велит нам:

— Слезайте!

— Как?

— Рядились до села.

Так постоянно бывает в борьбе с *серыми помещиками*, что зимой, когда стада на дворе, крестьяне охотнику ставят палки в колеса, а когда волка убить невозможно, летом, и он ежедневно режет скотину, все вопят о помощи. Мы к этому привыкли, и спокойно набавляем хозяину жеребенка рубль, два, три. Когда волк будет убит, расплачиваться будет Федя лыжей по заду, а вокруг будут смеяться и приговаривать: «наддай, наддай еще Федя, ему подлецу».

Через минуту мы освобождаемся от хозяина жеребенка и катим без задержки. На развилине лесных дорог нас дожидается человек и машет рукой. Мы оставляем сани, подходим, он шепчет:

— Скорей, скорей, дожидаются!

Курить уж больше нельзя. А чтобы не кашлять, как это всегда бывает, если оборвешь курево, — в рот кусок сахару. В других богатых командах за кашель полагается штраф, но у нас ни с кого ничего не возьмешь, у нас и так все боятся, потому что за кашель Федя побьет: штраф у нас натуральный.

Второпях мы лыжи забыли, а спешить по глубокому снегу, значит, в несколько минут запыхаться, и сердце так бьется, что в лесу отчетливо слышится эхо от его ударов, а в ушах звенят колокольчики.

Юноша мой, завидев первые флаги, пускается бежать. И трудно не взволноваться при виде этих сле-

дов таинственного лесного дела. А Федины флаги необыкновенные: правильные, разноцветные, так что будто это фонарики.

Мы с версту идем по линии флагов, пересекаем входные волчьи прыжки и тут видим *молчуна*. Его дело молчать и слушать *кричан*, и если волки сюда бросятся,—нажать и послать на стрелков, потому что испуганные иногда они могут перескочить через флаги. Молчун может иметь удовольствие не меньшее, чем и стрелок: нажмет, и вслед затем послышится выстрел.

Флаги кончаются. Мы подошли к тем роковым для волков воротам, через которые они должны проходить. Тут у ворот выкопал себе в снегу яму кассир казначейства, Дмитрий Николаевич, обставился елками, и над засадой видна только его шапка, повязанная белым платком. Через сто шагов такая же засада у Феди. Великан подымается, снимает и для нас флаги, из кожаного футляра вынимает пилку и в один миг из елочек делает новые засады для нас. Мне кажется, что и пилку эту он сделал собственными руками, чтобы пилила бесшумно, и лыжи такие только у него, сам делал, сам пропитал их каким-то снадобьем, чтобы в оттепель не прилипал снег. Он знает сотню ремесел, и говорят даже, когда-то в прежние годы своими руками сделал магазин, открыл в нем Мюр и Мерилиз, роздал в долг товары охотникам и прогорел навсегда.

Волки сделаны отлично, но загонщики прошли без *ерша*, значит, без руководителя. Обыкновенно *ершом* бывает сам Федя, но в этот раз он не надеялся, что мы успеем приехать, и сам стал на номер. До его слуха сразу дошло, что загонщики пошли *дуром*, и как же, наверно, чешутся у него руки на них! Слева от меня стоит мой юноша, и я за него очень побаи-

ваюсь. В одиночку можно прекрасно стрелять бекасов, а на людях иногда труднее в волка попасть. Бывает, волк проходит на шестьдесят шагов, — девяносто процентов, что положишь его, но этот волк идет так, что, если удержишься от выстрела, он к соседу придет и на десять шагов; значит, надо овладеть собой и удержаться. Бывает, выходит один волк и в пяту ему наступает другой, надо пропустить первого, стрелять второго и, когда первый от этого замешается, бить и его. А неопытный ударит первого и тогда второго ему не видать. Таких случаев множество.

Передо мною стожар, левее елка, по одну сторону ее стоит мой юноша, по другую идет волк на махах. Волк миновал ель, и, как бы ослепленный поляной, на мгновенье останавливается: задние ноги глубоко в снегу, передние не провалились. Странный цвет у волка на снегу, не серый, нет... И вдруг он весь проваливается в снег, пробует подняться, еще выстрел и он совсем исчезает в снегу, а я так и остаюсь с вопросом, какой у него живого на снегу был цвет.

Убита матерая волчица так чисто, что не успела даже снега примять, как живая положила морду на передние лапы, уши торчат.

— Чисто убита, — говорит Федя, довольный прекрасным выстрелом, — только зачем же ты еще раз стрелял?

Юноша молчит, но это известно почему: за упущенного волка штраф в нашей команде тоже бывает натурой, так уж лучше для верности еще раз стрельнуть в мертвого.

Волчица была неопределенного цвета, серое с желтым, но это совсем не то, что мне показалось, когда она так гордо стояла живая на снегу; потихоньку я спросил юношу, какой она ему показалась, когда стала против стожара.

— Зеленая — ответил юноша.

Два парня, выдернув стожарину, продевают через связанные ноги волка и несут его совершенно так же, как на картинках убитых львов носят в Центральной Африке. Федя устраивает волка в санях так, что при малейшем повороте встречная лошадь, завидев страшную голову зверя, бросалась бы в снег и так без спора освобождала дорогу борцу с серыми помещиками.

Мой дом стоит над озером на высокой береговой горе, внизу по берегу та самая дорога, по которой почти непрерывно движутся обозы с лесом. В ночь после праздника Солнцеворота возвращался пустой обоз со станции за лесом, — пронюхали, что лесная контора не будет отпускать лес три дня по случаю праздника, а потому, что железная дорога работу не останавливает, выдумали вывезти из лесной конторы в ближайшую деревню загодя столько, чтобы можно было возить лес на станцию без остановки во все дни праздника рождества по новому стилю.

Пустой обоз шел обратно в ту деревню за лесом. Месяц только-что народился, было совсем темно. Мне удалось после облавы в селе достать резвую лошадку, и, приехав много раньше товарищей, я приготовлял для них кое-что. При долетавших до меня и через окно криках в обозе при встречах я думал о неизмеренном мной сегодня новом осадке снега и заполнял пропущенный день для точных измерений прибавкой на слух руготни. Так или так, мне все равно, лишь бы чем-нибудь каждый день отмечать движение планеты и потом связать волшебной траекторией весь круглый год. И конечно, мне много лучше, если движение удается сразу же выразить не цифрами, а в образах жизни цифры остаются в обсерваториях, а простые люди живут, не зная о них, на плоскости и в непод-

вижности. Мои образы должны проникнуть в сознание обывателя, которому утолщение снежного покрова много понятней по усилению ругани на дорогах, чем по числу делений в мензурке.

— «А ведь где-то есть аэросани», — подумал я.

И в тот самый миг, как я подумал про аэросани, внизу пронесся такой ураган ругани, такие крики, что я сразу понял: такой крик не может быть просто при утолщении снежного покрова. Я подумал, не напали ли волки? Не очень давно было так, что волки выскочили из канавы и прямо с подводы взяли собаку. Я схватил ружье и бросился вниз по горе. Когда глаз мой привык к темноте, я разобрал, что какой-то великан дрался с мужиками и очень успешно расшвыривал их в снег. Но к дерущимся мужикам подоспела подсвежка из другого обоза и, казалось, великану капут. Однако он, исчезнув на мгновенье, опять показался с лыжей в руке и так ловко действовал, что скоро расчистил вокруг себя непереходимый круг, и тут все увидели, что дрались с нашим начальником волчьей команды. Узнав, все успокоились, и все пошло своим чередом. А вышло это потому, что первая лошадь, увидав страшную голову волка в санях, бросилась в сторону, хозяин, не разобрав в чем дело, полез драться, Федя дал ему... На помощь потерпевшему бросились другие, и пошла кутерьма.

Так вот и это пришлось записать, что в день Солнцеворота у многих повернулись носы на сторону.

МИЛОСТЬЮ ЛЕСА

Рассказ фауниста

Я тысячи раз проверял в себе эту страсть и о себе могу говорить твердо, что п о э т и ч е с к о е чувство только сопровождает охоту, как зарево — восходящее солнце, а самое солнце восходит в охоте, когда вса-

живаешь метким выстрелом в тело зверя свинец или так остановишь летящую птицу, что в воздухе от нее останется кружок из тончайших перышков, и похоже бывает на колечко дыма, пущенное губами курильщика.

Я смотрю правде прямо в глаза и продолжаю охотиться и буду охотиться, пока не отнимутся ноги и не угаснут глаза, потому что считаю это убийство пустяком в сравнении с теми пытками, которые люди устраивают друг другу, удовлетворяя неискоренимую свою природную страсть к мучительству. Вот этим-то я и считаю охоту полезной: охотник отведет свою душу на птице, на звере, а к людям является добрым. И это уж правда, что огромное большинство охотников — люди незлобивые и часто даже душевно внимательные. Расскажу к этому один случай из моей молодости, когда я прямо с университетской скамьи определился помощником заведующего на опытной станции, расположенной в глухом лесистом краю. Я был фаунист, энтомолог, тема моей диссертации была очень узенькая: я исследовал вид жужелиц. Но через узенькие ворота своей специальности я широко входил в мир природы, так что только жужелиц я преследовал методически, остальное все входило в мою душу совершенно свободно через зеленую дверь, и уж, конечно, я был отчаянным охотником.

В своей работе о жужелицах я проглядывал всю эволюцию мира, какой-нибудь усик, замеченный мной в сильную лупу, открывал мне сходство нашего жука с альпийским, и отсюда вдруг падал луч на движение глетчеров. Этой работой я хотел сразу поставить себя в науке на такое место, чтобы потом уж всю жизнь не выходить из высокого призвания ученого и в этом до конца раскрыть свою личность. Но этот мир больших планов, отчаянного задора и безумной страсти к природе я таил про себя и казался другим крайне

робким, застенчивым и слабохарактерным молодым человеком.

Заведующий станцией, мой начальник, был недалекий человек, и понял меня таким, как я кажусь. Зато уж я-то сразу понял его совершенно. Он считался ботаником и очень ловко умел обставить станцию так, будто на ней делались сложные селекционные работы, решались задачи с ответами в бесконечности. Меня изумляло, из каких источников у этого человека могло браться ослиное терпение для обмана, исключительно только, чтобы показать наезжающему изредка начальству товар лицом. Через несколько дней я сообразил, однако, что станцией заведует, собственно говоря, жена его, урожденная остзейская баронесса, важная барыня, и смотрит на ученое учреждение, как на собственное имение. Они выгоняли для своего стола в кулак величиною клубнику, тончайшие сорта французских салатов, спаржи, выращивали даже шпалерной культурой южные фрукты, и такой медовый месяц у них продолжался здесь уже четырнадцатый год. Меня, фауниста, баронесса поняла, как управляющего своим крольчатником и породистыми домашними животными.

Невозможно было никакое понимание, никакое объяснение. Я сделал вид послушного молодого человека, взял свои сачки, фотоэклектор, ружье и ушел далеко исследовать фауну одного умирающего озера. Несмотря на раннее весеннее время, сбор жуков там был у меня необычайный, я три дня косил своим сачком, потом две недели в ближайшей деревне разбирал, раскладывал их на вату и возвратился на станцию только, чтобы получить свое жалованье и вернуться назад.

— Вы где были? — спросил меня заведующий.

— Александр Иванович, — воскликнул я в восторге, — посмотрите, какие у меня чудеса!

И стал ему все показывать, все рассказывать.

Он слушал меня хмуро. Баронесса к столу не пригласила. Я сделал себе на примусе яичницу и сторожа послал на парники за салатом. Потом, когда сторож возвращался с пучками ромена, я слышал через окно голос баронессы:

— Кому несешь?

— Помощнику.

— Дай сюда, скажи ему, что не он здесь хозяин. Сторож вернулся ко мне с официальной бумагой и потребовал от меня расписку в получении. В бумаге было указано, что всякие экскурсии могут допускаться каждый раз только с разрешения заведующего, если же в будущем помощник дозволит себе хоть одну отлучку самовольную, то может считать себя уволенным.

Это был вызов к борьбе. Я измерил свои силы и силы врага. На моей стороне были отличные связи с университетом, на его — с чиновными лицами: значит, он был как будто сильнее. Но я подсмотрел, например, что у него в одном вегетационном сосуде из стеклянного песка выглядывал почему-то кончик тряпки... еще я видел — на всходах бродил огромный баронессин лонгшан и выбирал себе посеянные по весу и счету зерна турнепса. Но главное, — я понял дух станции, значит, мне стоит только присесть за отчеты, разобраться в нелепицах, написать заметку и устроить скандал. Непривычно мне было вторжение так называемой *жизни* в мой девственный мир. Раздумывая, я стал путать жуков, бросил работу, лег на койку уснуть, но вместо этого стал курить папиросу за папиросой и заболел. Да, я заболел, потому что весь этот созданный мной план исследования природы заколебался: так не раз я замечал, что величайшие мои восторги при соприкосновении с родниками мыслей и чувств иногда сразу исчезают от боли в желудке. И такая вся природа: она принимает в свои ряды только здоровых. Я заболел от неразрешимой

задачи: если принять борьбу, значит — опуститься в мир доносов, подкопов, если же смириться, раздвоиться, создать личину на службе... невыразимо противно.

Чтобы освежить комнату от табачного дыма, я открыл окно. Вечерело. В болотных кустах озера чуть слышно бормотал тетерев. Я этого бормотанья не могу выносить, нет такого звука в природе, какой говорил бы мне больше, и это моя самая любимая охота. Я считаю ее одной из труднейших: подкрадываться к одиноко токующему косачу.

Всколыхнулся при пении птицы весь гнус человеческого болота, в которое мне предстояло окунуться, и в борьбе за жизнь мне вдруг пришло в голову отдать лесу решение трудного вопроса: пусть этот токующий петух будет Александр Иванович, и с ним я начинаю борьбу. Если убью, значит начну борьбу с настоящим Александром Ивановичем, если не удастся, то начну искать выхода помимо борьбы. Как лес ответит, так и решу.

Моя страсть, настойчивость, терпение в достижении целей на охоте усилились в тысячу раз от принятого решения связать свою жизнь с косачом. Я решил действовать строго методически, не жалеть времени и эту зарю отдать только разведке. Основное знание в этой охоте состоит в том, что косач на утренней заре токует обыкновенно на том же самом месте, как вечером, и теперь мне надо было разузнать то место, чтобы утром явиться туда до тока и сесть под кустом.

Вот я ступаю теперь с кочки на кочку под бормотание и чуфыканье тетерева, таясь в полумраке за кустами, еще не прикрытыми листвой. Тетерев — это не глухарь, он слышит и во время своего пения, но все-таки слышит меньше, чем видит: я, прячусь больше от глазу. А кусты все ниже и ниже. Я ползу, ставя коленки на кочки, влача полы куртки по воде и, наконец, вижу его на середине болотной луговины,

чуть только белеется его подхвостье. Соображаю всю цепь защитных кустиков, где мне придется утром ползти. Выходит, очень трудно, а все-таки возможно. И меня даже радует, что нелегко: так ближе подходит к борьбе с настоящим Александром Иванычем. Потом я уползаю так же тихо, как и приполз.

Спать уже некогда. Дома я развожу примус и, пока пью чай, на севере объявляется белая полоска. Но я плохо рассчитал время. Когда я подхожу к кустам, полоска зари переходит от севера к востоку, становится розовой. Я не прокрался еще и половины к болотному польцу, Александр Иваныч хлопнул крылом и начал свои заклинания тьмы на чу, на фы и на ши. Все-таки я не теряю надежду, ползу по болоту на четвереньках, успешно ползу, каждый раз подавая вперед ружье. Из-за последнего куста я осторожно выглядываю: Александр Иваныч чуфыкает, подскакивает, хлопает крыльями и потом гуркует, совершая свои обычные движения.

Я хорошо умею разговаривать с тетеревами и, мне кажется, я почти совсем понимаю их язык. Гуркуя, Александр Иваныч выговаривает:

— Ур-гур-гу, ур-гур-гу, круты перья оборву, оборву....

Так множество раз и, наконец, смолкает. Тогда я сам делаю свои заклинания тьмы на чу, на фы и на ши. Он слушает, но не сразу подается, я шиплю еще раз, и он бежит.

Светлеет. Поднимаю ружье. Но и рука занемела, и волнение мое необычайное. На мгновенье я опускаю ружье, заговариваю свое сердце, хочу наводить ружье твердой рукой, но в этот миг на мое прежнее чуфыканье успела прибежать самка, воткнулась прямо в меня, взлетела и за ней в одно мгновенье улетел и косач. Все-таки я похвалил себя, что удержался от рискованного выстрела в полумраке по улетающему.

А что не вышло, то ничего, это не я виноват, в другой раз выйдет.

День проходит опять с яичницей и без салата, но в надежде убить я все-таки раскладываю своих жуков по коробочкам и мельчайшим бисерным почерком пишу этикетки. Вечером же я за час до прилета укрываю последний кустик к болоту еловой лапкой, мне очень хорошо теперь: я сижу на высокой кочке и только ноги в воде. Был один только дурной признак: прилетела кукушка и закуковала в неодетом лесу. Не люблю я, когда эта дачница мешается в дела весны, недоступные горожанам. Пробовал даже начать соловей, протянул вальдшнеп-хрипун. Натужилась кряковая. И вот — здравствуйте: является Александр Иваныч на другом конце луговинки, вне выстрела. Сидит строго, не начинает. Быстро смеркается. Я боюсь упустить время и начинаю, как если бы сказать по-человечески:

— Чорт знает что!

И он отвечает мне:

— Чорт!

Решительно не хочет итти.

— Не хочешь — шепчу я — так вот же я к тебе...

И то ругаясь по-ихнему, то успокаивая, подавая нежный голос тетерки, ползу стороной. Мне кажется, вот и довольно, подымаю ружье, но мушки совершенно не видно. Выравниваю планку и нет, тоже все приблизительно. Только в этот момент проклятое а в о с ь подталкивает мой палец, и я спускаю курок. Выскакиваю из дыма. Он на том же месте, лепешкой. В восторге делаю шаг... — он улетает.

Годами, годами, десятками лет помнишь такую беду и упрекаешь себя: зачем я вскакивал, сидел бы в кусту и стрелял еще раз.

В первое время я не хочу сознаться в промахе и

уверяю себя, что улетел он раненый. Значит, лес мне ответил:

— «Если начнешь борьбу, враг улетит раненый, а ты уйдешь огорченный».

Грустно раздумываю я над этой лесной мудростью дома, хочу ей подчиниться и не могу: я не могу решиться подчинить свое дело глупому Александру Иванычу, оставить великолепные сборы жуков на умирающем озере. Невыносимо противна мне эта какая-то восточная мудрость непротивления...

И опять не могу я уснуть и курю папиросу за папиросой, и опять мне, больному, закрываются зеленые двери природы: там принимают только здоровых и сильных.

У всех, кто много ночевал в лесу, бывает петушиное чувство к ходу планеты: перед самым появлением белой полоски на севере мне вдруг пришло в голову, что Александр Иваныч, может быть, и не ранен совсем, прилетит опять и все обернется иначе. Я беру ружье, выхожу на болото и... какая это была счастливая мысль! Он прилетает на то же самое место, и гадать о расстоянии мне больше не нужно, только ждать и ждать. Я ложусь... не обращая внимания на воду между кочками, кладу ружье на высокую кочку: теперь оно уж не дрогнет. Так терпеливо дожидаюсь, пока обозначится мушка. Мне бы только не пропустить момент, когда мушку мало-мальски можно будет видеть, а он еще через куст не рассмотрит меня, да вот еще не нарвалась бы тетерка.

На пути полета снаряда обозначалась тонкая веточка и на ней большая раскрытая почка и она как раз на боку у петуха. Мушки не видно на петухе, а на почке, кажется, хорошо, и если в почку стрельнуть, то должно же попасть и туда. Я так думаю, а палец сам, да сколько ни думай, а палец, в конце концов, делает сам...

Александр Иваныч представил себе, что это другой его противник—не я, а такой же петух, как он сам—и что этот петух вдруг откуда-то взялся и ударил его в бок. Он высоко подпрыгнул, как бывает у них в бою, но сейчас же свалился и захлопал крыльями.

Я курил над ним папироску, совершенно счастливый, и все соловьи пели мне славу, и румяная заря захватила все небо.

Я видел журавлей на заре... Да и мало ли что я видел и слышал! Все мои раздумья были сметены, как тетерев моим выстрелом. Моя красная радость закрыла голубой свет мудрости непротивления. Я просто изумлялся, как я, такой богатый, мог до того прибедниться, что какой-то пустяк заслонил мне весь мир. Выждав час, когда встают господа, я с большим извинением являюсь к начальнику, ему только это и нужно, он мне в неделю дает целых пять свободных дней: вы понимаете, это не похоже на непротивление, я просто оползаю куст.

Враг мой убит в болотных кустах. Я подношу петуха баронессе. Вечером садовник приносит мне салат-ромен, свежих огурцов из февральского парника и на заре я ухожу исследовать свое умирающее озеро.

АРХАРЫ

I

Страшный суд

Было это на Иртыше. Я вылез на палубу из вонючего пароходного подвала, где были сгружены переселенцы. От моих ста рублей не оставалось и половины, а я ничего не мог написать о переселенцах. Это были несчастные жалкие люди, и я понял, что писать надо не о них, а о похождениях переселенческих чи-

новников, что для этого требуется длительное изучение на месте.

Интереснейшие степные картины мало-по-малу обратили на себя мое внимание, я принялся, кроме того, просматривать единственную взятую с собой книгу — географию Семенова и скоро вычитал там, что где-то около Каркаралинска в степных горах водятся архары. Непобедимое желание овладело мной: бросить переселенцев, плюнуть на аванс и заняться архарами.

Пароход между тем подплывал к пристани города Павлодара и, когда остановился, на палубу вошел молодой еврей, щегольски одетый. Он слез возле меня и спросил, куда я еду.

— А вы куда? — оборвал я его встречным вопросом.

— Я, — ответил он — еду в Семипалатинск жениться.

— То-то вы таким щеголем, а откуда едете?

— Из Каркаралинска.

Я оживился и спросил:

— Есть там архары?

— Подальше, в горах Кызылтау много: стада.

— Вот бы убить... — сказал я.

Тогда молодой человек начал меня уговаривать ехать в Каркаралинск к его родному брату Лазарю Исаичу: он фабрикант фруктовых вод и главное, торгует мясом, у него масса знакомых в степях, он всегда может достать лошадей.

— А ружье? — сказал я — у меня даже ружья нет.

— И ружье достанет Лазарь Исаич. — А лошади... вон лошади, пристраивайтесь попутчиком.

Я взял записку от Аарона Исаича, очень задешево устроился в кибитке и поехал за шестьсот верст от Иртыша к какому-то фабриканту фруктовых вод Лазарю Исаичу за архарами.

За этот смелый поступок впоследствии я был награ-

жден: мое степное произведение «Черный араб», освободило меня от необходимости писать в газеты на злобу дня, но свою охоту на архаров я не описал в этой легенде о Черном арабе. Между тем именно вот эта трудная цель, — без средств, даже без ружья убить архара, позволила мне так хорошо ознакомиться с жизнью сибирских горных степей.

У Лазаря Исанча в Каркаралинске я попал в целый еврейский муравейник. Все собрались посмотреть на нищего путешественника, наготовили для меня, наставили на стол всяких закусок, и Роза Львовна беспрерывно мне говорила:

— Кусайте, позалуста!

Беда вышла из-за того, что, как после оказалось, в 1905 году Лазарь Исанч поднял красный флаг и проехал с ним на верблюде: все еврейское население с тех пор находилось под надзором у местного уездного начальника.

На другой день я был вызван к допросу. Начальник оскорбил меня, я оскорбил начальника и, впредь до выяснения моей личности, я был связан подпиской о невыезде из Каркаралинска.

Я был действительным членом географического общества, список членов имеется в каждом губернском городе. Лазарь Исанч нашел какую-то оказию в Семипалатинск, кто-то сходил к губернатору, какой-то лесничий привез от губернатора нагоняй уездному начальнику.

Я сидел у евреев на их празднике страшный суд, ритуал которого состоит в том, чтобы двадцать четыре часа не есть ничего, а потом уже сразу ужасно наесться. Я тосковал, проводя уже третью неделю без всякого дела на подножном корму у приютивших меня людей. С тоски я решил голодать на их страшном суде двадцать четыре часа, сидел и пощипывал незаметно сунутое мне Розой Львовной в карман миндаль-

нос пирожное. Вдруг появляется городовой и требует меня к уездному начальнику немедленно.

Помню, только старик остался на месте, все же другие, забыв о страшном суде, стали со мной прощаться, уверенные, что меня или посадят, или отправят. Никто не знал, что это приехал лесничий с нагоняем от губернатора. Меня ввели в большую комнату с длинным столом, нагруженным всякими яствами и винами. Уездный начальник встретил меня с распростертыми объятиями; у него сын студент, дочь хорошенькая курсистка; лесничий восхищался моими литературными произведениями, все были совсем либеральны. Я не стал церемониться и, поголодав уже довольно на страшном суде, принялся есть и пить.

Несмотря на все намеки уездного начальника и предложения поселиться чуть ли не у него в доме, я не изменил Лазарю Исаичу, продолжал жить у него и по всему городу разгуливал под руку с Розой Львовной, предпочитая ее всем дамам, с которыми познакомился в доме уездного начальника; мое поведение окончательно расположило Лазаря Исаича в мою пользу, так что он и сам решил ехать со мной в экспедицию за архарами. Мы достали несколько казачьих винтовок, два дробовика; к экспедиции присоединился знаменитый охотник Хали-Мергень, поставщик зверей известной в Сибири Верещагиной, снабжавшей Гамбургский зоологический парк. Еще вошел в экспедицию секретарь уездного съезда, очень влиятельный в степи человек, Дмитрий Иванович, и Токмет, бедный киргиз, на своем верблюде повез за нами юрту и съестные припасы. «Длинное ухо», киргизская почта, передавая всякий слух от всадника к всаднику, от аула к аулу, лучше всякого радио распространило весть о выезде в степь важных лиц: секретаря уездного съезда, петербургского писателя и фабриканта фруктовых вод. К нам стали присоединяться любители

охоты из богатых киргизов, нам надавали много запасных лошадей, появились киргизские гонцы — борзые собаки, беркуты и другие ловчие птицы. Редко приходилось есть баранину, для дорогих гостей всюду резали молодых жеребят и, наверно, вышло бы порядочное озерко, если бы можно было собрать в одно место весь выпитый нами кумыс.

II

Токмет и тетерева

Мое одинокое путешествие превратилось в охотничью экспедицию, материалы рекой потекли в мои записные книжки. Я до сих пор не могу их использовать. Только два — три момента, предшествовавших охоте на архаров, я могу передать здесь, опасаясь растянуть свой рассказ.

Однажды рано утром, когда все наши, опившись ночью кумысом, спали в ауле, мы пили чай с Токметом на воздухе. Какие-то темные птицы, совершенно как у нас грачи, большой стаей разгуливали вдали по дороге. Присмотревшись к ним, я, к величайшему своему удивлению, узнал тетеревей. — «Раз они так изменили свои привычки в степной природе, — подумал я — то может быть они и подпустят нас пеших на выстрел?» Подумав так, я взял плохонький дробовичок и стал подходить к ним дорогой, громко разговаривая с Токметом. Когда птицы стали вытягивать шеи, на довольно большом расстоянии, я выстрелил. Все поднялись, но один петух, подстреленный в крыло, с большой быстротой пустился наутек. В тот же самый момент и Токмет пустился за ним, как собака, догнал, и ножом перерезал ему горло. А когда я подошел, то, как это часто бывает, один затаившийся петух вдруг вырвался около нас, и я успел его убить на лету,

Он был убит наповал. Токмет не побежал за ним, ему эта птица не нужна: по их мусульманским законам нельзя есть животное, у которого не спущена кровь. Резаную птицу я отдал Токмету, убитую взял себе. Обрадованный Токмет ответил мне пословицей:

— Воздух и вода принадлежат всем, дело рук охотника пополам.

Вся огромная стая тетеревей должна бы, по их степным законам, улететь в горы и рассесться на острнях камней, как у нас на березах, но им на пути было соленое озеро с большими зарослями, они решили рассыпаться здесь, переждать, и потом опять выбежать на дорогу. Мы отправились туда. Плохонькое ружьишко очень живило. Токмет после выстрела бросался. резал горло. Большая часть птиц досталась ему, и когда мы потом сели на камень отдохнуть, он сказал:

— Хорошее ружье, очень хорошее?

— Плохо стреляет — ответил я.

Он покачал головой и сказал:

— Худай береды.

Я перевожу это: «ружье плохо стреляет, а бог посылает».

Я мотнул головой в знак согласия, а Токмет, обрадованный, изрек:

— Кто много ездил, тот знает, что далеко и что близко; кто много пережил, тот знает, что сладко и что горько.

Я уже знал, что пережил Токмет: он был джетак, значит, самый бедный киргиз, у которого джут (гололедица) от всего стада оставил только одного верблюда. Такой самый несчастный человек в степи не может больше кочевать и должен заниматься земледелием. Зная все это, я сочинил пословицу в степном духе и сказал:

— Кто много и радостно кочевал, тот знает жизнь

в ширину, кто пострадал и стал земледельцем, тот узнал жизнь в глубину.

Джетак изумленный спросил:

— Откуда ты узнал такую хорошую пословицу?

Я ответил:

— Кто много ездил, тот знает, что далеко и что близко, кто много пережил, тот знает, что горько и что сладко.

— Мергень — ответил Токмет.

Это значит: отличный стрелок.

III

Ветр Иваныч и дрофы

Секретарь уездного съезда Дмитрий Иванович, добродушный, страшной толщины человек, пользуется в степи большой популярностью, киргизы зовут его Ветр Иваныч. Он ни одного аула не пропустит, чтобы не попробовать крепость кумыса, и всегда к этому добавляет из своего запаса казенного вина. У него своя лошадь, своя тележка. Выпив, он мечтает бросить службу, сесть в тележку и ехать от аула к аулу: везде будут гостя кормить и так можно всю жизнь ехать и охотиться.

— Хорошо бы дрофу убить — сказал я — совсем незнаком с этой охотой.

— Самое пустое дело — ответил Ветр Иваныч — вот как только выедем в степь, так и убьем.

И правда, дрофы, скоро показались. Я пересаживаюсь в тележку Ветр Иваныча и правлю, он с ружьем в руке сидит, выжидая момент, когда ему удобней всего соскочить с тележки. Расчет известный: мы едем спиральными кругами, приближаясь к птицам: когда будем на выстрел, Ветр Иванович соскочит с тележки, будет выцеливать из своего винчестера, а дрофы

будут смотреть не на него, а на продолжающую свой путь тележку. Однако, Ветр Иваныч, тучный, на коротеньких ножках, не мог просто соскочить на степь, ему нужен был камень. Я наметил крупный булыжник, постепенно подъехал, спустил Ветр Ивановича, двинулся вперед, глянул на дроф и ужаснулся: Ветр Иванович на камне оказался куда значительней тележки, дрофы смотрели не на тележку, а на Ветр Ивановича...

Они быстро побежали и поднялись, вслед им полетели безвредные пули. Я вернулся. Ветр Иванович налил себе шкалик из фляги, выпил и сказал:

«Матрешкина мать собиралась умирать, умереть не умерла, только время провела».

IV

Архары

Синие горы похожи на палатки великанов, кочующих в этих степях. Наши горы, где мы будем стрелять горных баранов, называются Кызылтау, значит, красные горы. Издали они нам казались тоже синими, а когда подъехали, стали черными, окаймленными желтеющими кустарниками. В долине Бий-Джана нас прельщает веселый ручеек и, несмотря на протесты Токмета, мы решаем тут поставить наш дом. Наш караван останавливается.

— Чок, чок! — кричит Токмет верблюду. Он подгибает колени, ложится. Отвязываем большой круг — основание юрты. Палки вставляются, привязываются, обтягиваются кошмой, сверху тоже накидывается кошма, наверху само собой получается отверстие для дыма.

Я просыпаюсь ночью от ужасающей боли и вижу такую картину: все наши совершенно голые сидят

у огня и, ругаясь, работают по своему телу ножами. Мое тело тоже покрыто черными точками, совершенно похожими на шляпки забитых в тело гвоздей. Токмет оказался прав, что настаивал не ночевать у ручья: возле воды при перекочевках останавливаются пастухи с баранами, и тут всегда остается много бараньих клещей. Очистив тело от клещей, мы делаем факелы из бараньего жира и при свете их переносим наш дом. Зуд от клещей долго не дает уснуть, и кажется, вот только что уснулось, раздается голос Хали, повторяющий одну и ту же фразу:

— Айда, ребята, вставай архар стрелять!

Хали такой ловкий, проворный, заботливый, я верю его рассказу, что он раз для Верещагиной руками за уши поймал дикую свинью и ехал на ней, пока не скрутил. Верней всего он не соснул ни минутки. И трудно ему с толстяком. Мы уже одетые пьем чай, а Хаи все повторяет:

— Айда, Ветр Иванович, вставай архар стрелять!

Хали беспокоится, потому что архары очень рано, еще до свету, спускаются со своей горной лежки кормиться в долину и, чуть солнце разогреет, подымаются. Времени для охоты не так уж много... по росе мы будем искать следы, с гор высматривать пасущихся.

Тяжело подымается Ветр Иванович, причесывается и говорит:

— Пока не причешешься, все что-то в голове копается.

Пьет чай, обжигаясь, ворчит:

— Чорт его знает, отчего это, как это только из дома выедешь, на пальцах начинаются заусенцы.

Ветр Иванович считает себя опытным охотником и не раз заявлял нам, что на архаров он будет охотиться самостоятельно. Подвесив себе огромную флягу, конечно, уж не с водой, он подводит своего коня к камню и с него грузно взваливается на седло. Он

долго едет за нами таким важным полковником в рыжей шапке под цвет архара и осенних рыжих кустов, в рыжем бешмете. Он эту охоту на архара долго, годами лелеял и все предусмотрел. Одно только он упустил, что животик его от кумыса с годами рос, рос и до того теперь дошло, что если подниматься, как приходится вверх почти по отвесным скалам, то лука непременно просверлит ему брюхо. Зоркие киргизы и насмешливые: Хали относительно луки и живота все предусмотрел, все перешептал мне и задумал во что бы то ни стало отделаться от такого охотника. И, конечно, он нарочно выбирает путь через кручу. Чтобы не упасть вниз, я хватаюсь за гриву лошади и, когда становится уже не страшно посмотреть вниз, вижу, как там куда-то в сторону шагом пробирается Ветр Иваныч. Улыбаясь, Хали говорит:

— Ветр Иваныч архар испугал!

Это значит, что нельзя охотиться с ним, он испугает архара.

Мы поднимаемся выше и выше, жутко подумать, что потом придется спускаться по такой крутизне. Когда становится невозможным подыматься на лошадях, мы их просто бросаем, они никуда не уйдут и будут только переходить от ямки к ямке, налитой растаявшим снегом. Мы ложимся на высоте и стараемся разобраться в грандиозной картине долин и сопок. Очень трудно отсюда различить архара от рыжего кустика. Сам Хали спрашивает меня, указывая в одно подозрительное место, архар это, или камень. Бинокль необходим, а нет. Кажется, архар стоит, наклонил голову, щиплет травку...

Мы решаем спуститься к нему, но перед этим надо хорошо изучить местность, иначе заблудишься и ничего не найдешь. Хали изучает памятью, я набрасываю план на бумаге. За это время раз совсем близко

от нас перемахнул беркут, и вскоре лисичка высунула мордочку и долго глядела ему вслед.

Такая прозрачная осенняя тишина в этих предгорьях Алтая и Тарбагатая, тут может быть не ступала нога человека, вон там белеется череп какого-го умершего своей смертью животного... А там вон внизу в ясной долине из-за черного камня показывается живое существо, за ним другое, третье... Мы насчитали их девять и стали спускаться.

— Кульджа есть! — шепчет мне Хали.

Кульджа — название самца. Есть кокпеккульджа, большой трехлетний самец, и еще бывает самый лучший, самый большой актамак (белогорлый).

Почему же тот первый, которого мы заметили, не спускается в долину? Хали думает, что это сторож и к этим он не спустится.

Нам надо очень спешить, а то к тому часу, когда в городах пьют чай, архары возвращаются в горы, чутко спят; к ним тогда не подкрадешься, и если разоспятся, сторож их разбудит своими рогами.

Через какую-нибудь сотню шагов вниз моя карта ничего не говорит мне, я не узнаю долин и сопок, и если бы остаться одному, я может быть не нашел бы не только архаров, но и своих лошадей. Я спускаюсь по крутизнам, подражая кошачьим движениям Хали, иногда обсыпаю камешки, и тогда Хали останавливается, оглядывается и приставляет палец ко рту.

Меня очень удивляет, как Хали мог пройти эту трещину в скалах и ничего не заметить. Но я и сам прошел ее и только после сообразил, что фотография, мгновенно сделанная лучом солнца в моем глазу, означала стадо архаров. А Хали подходил уже к самому краю скалы и непременно должен им показаться и сразу спугнуть. Шепнуть нельзя — далеко, крикнуть — опасно. Я схватываю камешек и, наметившись пускаю им в спину Хали, потом зову к себе руками

Пропускаю его мимо себя и любуюсь, как он ползет к трещине. Мне так не суметь, я стою и боюсь шевельнуться, а он, рассмотрев, зовет меня рукой, и я ползу. Теперь он смотрит и едва ли любуется.

Стадо от нас всего на полтораста шагов. Кулиджа огромный со спирально закрученными рогами еще ближе. Я пристрелялся к казацкой винтовке и знаю, что на таком расстоянии нужно целить под нижнюю шерстку.

Но я не могу стрелять, мушка танцует. Пусть стреляет Хали, а я бы полюбовался этой желтой долиной в черных горах, я бы очень хотел передать ему ужасно волнующее действие. А он смотрит на меня и дожидается: он ни за что не станет стрелять, хочет, чтобы я: он много убил архаров. Нечего делать, укладываю винтовку на камень, устанавливаю мушку под шерстку, спускаю курок...

Все брызнуло, и через мгновенье они гирляндой стоят на скале от нас на триста шагов. Хали стреляет туда, а мой стреляный кульджа почему-то бежит не к стаду, а к нам. Я стреляю в него на бегу быстро на вскидку, как из дробовика, и с отчаянием вижу, как пули возле него столбиками подымают пыль. Он рухнул почти у самого нашего камня. А те после выстрела Хали опять брызнули вверх и опять на большой высоте остановились гирляндой. Одна осталась внизу неподвижной. Не переставив прицела, я стреляю вверх, и все как сон исчезают.

Мы полюбовались рогами кульджи, скрепя сердце поглядел я на красивую самку с насквозь пробитой шеей. Потом, поднявшись немного в сторону наших лошадей, я взглянул туда, где заметили первого одинокого архара; остановились в изумлении: он там на прежнем месте.

Мы опять крадемся, Хали выглядывает и вдруг ложится на землю, хохочет. Я выглядываю и тоже

ложусь рядом с Хали; это не архар, это Петр Иваныч спит в своем архарьем костюме.

Мы разбудили его, я спросил:

— Как же это вы уснули, Дмитрий Иванович?

Добряк, показывая на флягу, сказал:

— Душа поэта не стерпела!

Тут недалеко от двух убитых архаров мы по-братски разделили остатки содержимого фляги.

ОРЕЛ

Верхами на маленьких лошадках, похожих на диких куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов, беркутов. У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали в руке приманка: кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана а р х а р а. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы в ее отверстие, когда падает сверху камнем орел за добычей, свободно он мог бы залететь, но, распустив крылья, остался бы в сетке. Внутри этого сетяного шатра мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере.

До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам, и если с малолетства приучить, даже и волка останавливают. До рассвета мы шопотом беседуем про орлов и, когда начинает светлеть и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, — кажется, это мальчики змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посовето-

вался со своими, или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения и вот видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновенье как бы останавливается в воздухе над ловушкой и вдруг камнем падает на кровавое сердце архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла.

Да, он упал...

Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь... Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей.

Мы радость привозим в аул: не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его богатому Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте.

И вот как мы приручаем орла и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка.

В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, посредине сажаем орла, привязываем его лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на веревочке, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя: он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака — друг человека.

Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка самый главный любитель охоты, владелец пяти тысяч голов лошадей, наш почетный гость Мамырхан. Он глаз не сводит с орла, и чуть только тот успокоился, делает знак, и киргиз дергает за веревочку.

Наелись охотники баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя, непременно дернет за веревочку, и орел на пол-юрты взмахнет крыльями, кому забота на душе и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, — тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревочку. И даже кто, с боку на бок переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день, два; задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, как дохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут — только покажут! — кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого вываренного бескровного мяса. Продержат, подергают еще дня два, показывают свежего, кровавого теплого, дымящегося мяса и отпускают орла.

Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте. Мамырхан довольный улыбается; смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, не знают, что делать: по перьям орел, хватать бы его, а ведет себя, как собака — друг человека.

— Ка! — кричит киргиз, — ка! Орел плетется себе.

И над царем птиц все покатываются.

Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса: — Ка!

Орел садится к нему на перчатку.

Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, — к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики и выгнали зайца, — кричат:

— Куян!

Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла. Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень, бросается, — вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле. Вот клевать бы, клевать и что еще проще: взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И, может быть, он уже и подумывает об этом, алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты...

Мгновенье еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен и, наученный, никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку, но как раз в это мгновенье Мамырхан крикнул:

— Ка!

И показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса.

И этот полувысохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом: он забывает и горы свои и семью и свою богатую еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца.

Так приучают орлов.

БОЛОТО

Знаю, мало кто сиживал раннею весною на болотах в ожидании тетеревиного тока, и мало слов у меня, чтобы хоть намекнуть на все великолепие птичьего концерта в болотах перед восходом солнца. Часто я замечал, что первую ноту в этом концерте, далеко еще до самого первого намека на свет, берет кроншнеп. Это очень тонкая трель, совершенно не похожая на всем известный свист. После, когда закричат белые куропатки, зачуфыкают тетерева и токовик, иногда возле самого шалаша, заведет свое бормотанье, тут уж бывает не до кроншнепа, но потом при восходе солнца в самый торжественный момент непременно обратишь внимание на новую песню кроншнепа, очень веселую и похожую на плясовую: эта плясовая так же необходима для встречи солнца, как журавлиный крик. Раз я видел из шалаша, как среди черной петушиной массы устроился на кочке серый кроншнеп, самка; к ней прилетел самец и, поддерживая себя в воздухе взмахами своих больших крыльев, ногами касался спины самки и пел свою плясовую. Тут, конечно, весь воздух дрожал от пения всех болотных птиц, и, помню, лужа при полном безветрии вся волновалась от множества пробудившихся в ней насекомых.

Вид очень длинного и кривого клюва кроншнепа всегда переносит мое воображение в давно прошедшее время, когда не было еще на земле человека... Да и все в болотах так странно, болота мало изучены, совсем не тронуты художниками, в них всегда себя чувствуешь так, будто человек на земле еще и не начинался.

Как-то вечером я вышел в болота промять собак. Очень парило после дождя перед новым дождем. Собаки, высунув языки, бегали и время от времени ложились, как свиньи, брюхом в болотные лужи.

Видно, молодежь еще не вывелась и не выбиралась из крепей на открытое место, и в наших местах, переполненных болотной дичью, теперь собаки не могли ничего причуять и на безделье волновались даже от пролетающих ворон. Вдруг показалась большая птица, стала тревожно кричать и описывать вокруг нас большие круги. Прилетел и другой кроншнеп и тоже стал с криком кружиться, третий, очевидно, из другой семьи, пересек круг этих двух, успокоился и скрылся. Мне нужно было в свою коллекцию достать яйцо кроншнепа и, рассчитывая, что круги птиц непременно будут уменьшаться, если я буду приближаться к гнезду, и увеличиваться, если удаляться, я стал, как в игре с завязанными глазами, по звукам бродить по болоту. Так мало-по-малу, когда низкое солнце стало огромным и красным в теплых, обильных болотных испарениях, я почувствовал близость гнезда: птицы нестерпимо кричали и носились так близко от меня, что на красном солнце я видел ясно их длинные, кривые, раскрытые для постоянного тревожного крика носы. Наконец, обе собаки, схватив верхним чутьем, сделали стойку. Я зашел в направлении их глаз и носов и увидел прямо на желтой сухой полоске мха возле крошечного кустика без всяких приспособлений и прикрытия лежащие два большие яйца. Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя: комарики сильно покусывали, но я к ним привык и даже благодарил этих стражей болот, этих ноющих демонов, что не пускают дачников и всяких гуляющих людей; благодаря им болота остаются единственно вполне девственной землей, принимающей к себе только тех, кто может много терпеть, не теряя радостного духа. Как хорошо мне было в неприступных болотах и какими далекими сроками земли веяло от этих больших птиц с длинными кривыми носами, на гнутых крыльях, пересекающих диск красного солнца!

Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из этих больших прекрасных яиц, как вдруг заметил, что вдали по болоту, прямо на меня шел человек. У него не было ни ружья, ни собаки и даже палки в руке; никому никуда отсюда пути не было, и людей таких я не знал, чтобы тоже, как я, могли под роем комаров с наслаждением бродить по болоту. Мне было так же неприятно, как если бы, причесываясь перед зеркалом и сделав при этом какую-нибудь особенную рожу, вдруг заметил бы в зеркале чей-то чужой изучающий глаз. Я даже отошел от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек этот своими расспросами не спугнул бы мне, я это чувствовал, дорогую минуту бытия. Я велел собакам встать и повел их на горбинку. Там я сел на серый, до того сверху покрытый желтыми лишайниками камень, что и селось нехолодно. Птицы, как только я отошел, увеличили свои круги, но следить за ними с радостью больше я не мог. В душе родилась тревога от приближения незнакомого человека. Я уже мог разглядеть его: пожилой, очень худощавый, шел медленно, наблюдая внимательно полет птиц. Мне стало легче, когда я заметил, что он изменил направление и пошел к другой горушке, где и сел на камень, и тоже окаменел. Мне даже стало приятно, что там сидит такой же, как я, человек, благоговейно внимающий вечеру. Казалось, мы без всяких слов отлично понимали друг друга и для этого не было слов. С удвоенным вниманием смотрел я, как птицы пересекают красный солнечный диск; странно располагались при этом мои мысли о сроках земли и о такой коротенькой истории человечества: как, правда, все скоро прошло.

Солнце закатилось. Я оглянулся на своего товарища, но его уже не было. Птицы успокоились, очевидно, сели на гнездо. Тогда, велев собакам, крадучись, идти назади, я стал неслышными шагами под-

ходить к гнезду: не удастся ли, думал я, увидеть вплотную интересных птиц. По кустику я точно знал, где гнездо, и очень удивлялся, как близко подпускают меня птицы. Наконец, я подобрался к самому кустику и замер от удивления: за кустиком все было пусто. Я тронул мох ладонью: он был еще теплый от лежавших на нем теплых яиц.

Я только посмотрел на яйца, и птицы, боясь человеческого глаза, поспешили их спрятать подальше.

А на краю болот жили люди, и они тоже боялись «глазу».

Во мраке наступившей ночи в глазах моих не потухал диск красного солнца, и я понимал, что люди страх свой перед «глазом» сохранили в себе еще с тех далеких времен, когда сами жили, как птицы.



СТАРЫЕ РАССКАЗЫ

Волки-отцы
Крутоярский зверь
Птичье кладбище
Бабья лужа

ВОЛКИ-ОТЦЫ

На краю поля стоит, уши развесил, неисходимый казенный лес. Поле глядит, лес слушает. А на другом конце поля слобода Пониковка, как старуха, сидит и все, что покажется в поле, все, что послышится в лесу и почудится, собирает в суму.

И много коробов всякой всячины, лесной и полевой, набрала старуха. Много раз от самой Спиридоновны с трепетом слушали мы ее рассказ о ее страшной волчиной ночи и дивились обычаю волчьих заметок. Но теперь, как вспомнишь, удивительней всех лесных и полевых чудес сама Спиридоновна.

В то время Спиридоновна жила у нас на Пониковке и была она мирская няня, это значит, что ходила она из дома в дом к больным детям и живет на месте только на время болезни.

Когда у бедных людей заболеет дитя, на пороге появляется высокая старуха и спрашивает:

— Не улетела еще душка?

Тогда мать может смело итти на работу, дитя ее в верных руках, и едва ли найдется такая любящая и заботливая мать, как мирская няня Спиридоновна.

Так было раз у нас, заболел Петюшка, и трудновато было нам с ним до последней крайности: жена сидела с ребенком, я до службы старался управиться и с водой, и с дровами, и с базаром, но где тут было управиться! И вот уже на службе начали коситься. Что тут делать?

Однажды встаю с постели, открываю дверь на стук, входит Спиридоновна и спрашивает:

— Не улетела еще душка?

Сразу она развязала нам руки, а когда через месяц Петюшка оправился и дошел слух, что у кого-то на Пониковке тоже заболел ребенок, Спиридоновна стала с нами прощаться. С Петюшкой она прощалась как мать, когда провожает сына на войну: убивалась, так убивалась! А пройдет время, с другим ребенком будет так же прощаться, как с Петюшкой. Вот за то она и есть мирская няня, что материнская любовь у нее неиссякаемая, и как есть другая любовь, которой иная женщина тоже многих может любить, так и эта материнская любовь у Спиридоновны переходит на множество младенцев, и как раз когда ребеночек оздоровеет и делается как бы своим собственным, приходится с ним расставаться и к другому итти. Удивительная была эта мирская няня, и много я за месяц тогда узнал от нее всего: постоянно что-нибудь рассказывала. •

Было это в сочельник Нового года, за лесом помирал старый дед. У того деда никого не было в избе, только сирота младенец. Без дедова ухода «закричалось», потом стихло и загорелось дитя. За поздней обедней сказали это Спиридоновне: дед и дитя помирают за лесом. После обедни по обычаю пошли поминать на кладбище покойников. Спиридоновна тоже понесла туда свои поминальники. Кладбище тесное, покойник к покойнику, гроб на гроб, камень на камень. Родную могилку узнают только по зарубкам на соснах и даже у иных и зарубки-то сходятся — вот какая теснота. По-настоящему надо бы перенести кладбище на другое место, но уж очень привыкли тут хоронить: высокое кладбище, сухое, песочек, покойникам лежать хорошо, а живым помянуть — одно удоволь-

ствие. Разложили в это утро женщины свои пироги, пришел батюшка, окадил: пономарь собрал в мешок поминальники, пономарев поросенок пришел добирать, а за поросенком давно уж следил узкомордый волченок.

Спиридоновна, мирская няня, не здешняя, у нее тут нет родных, но и она поплакала на тех могилах, где свежее и больше горе, а когда все разошлись — она всегда поджидала, чтобы не попали ее поминальники в пономарев мешок — раскрошила свои пироги над всеми могилами, и сейчас же стали слетаться разные птицы на крошево. Залюбуешься, когда между засыпанными снегом соснами в солнечных лучах слетаются птицы. Светло и на душе стало у Спиридоновны: мирская няня только и жила светлым покоем души.

А тот волчонок, стерегущий пономарева поросенка, все полз и полз по канаве, почти что напоролся на старуху, увидев ее, ужасно перепугался и пустился бежать полями прямо к казенному лесу. Свежий волчий след на поле перехватили охотники, побежали на лыжах обкладывать, но вдруг помутилось небо, снег повалил, и ветер вовсе замел волчьи следы. Только в самой глубине леса, куда и ветер не проходит, на пнях и волчьих кустарниках остались какие-то незасыпанные снегом волчьи заметки. По этим заметкам волки понимали свое волчье, разобрав, оставляли новые заметки, и новые волки, читая старое, оставляли свое. Так по-своему они узнавали и свою волчью жизнь и разные человеческие новости, если они касались волков. Волчонок, стерегущий пономарева поросенка, конечно, все на пнях разболтал.

Когда замутилось небо, замутилась и душа у Спиридоновны. Не попасть, думает, к младенцу, пропадет без нее дитя. Дома, сама не своя, металась к окошку мирская няня, выглядывала, не стихает ли метель. Под вечер понемногу начало было униматься, но тут

другая беда: ехать надо казенным лесом, а ночью теперь там стаями ходят волки. Думала, думала Спиридоновна, как ей быть, и вот приходит к ней соседка с ребенком на руках.

— Милая душка, — сказала Спиридоновна ребенку, — посмотри в окошко, можно ли мне ехать?

Верила она, как в старину многие верили, что невинное дитя никогда не обманет.

— С дороги не собьюсь, не застыну, волки не обидят меня?

Ребенок ответил:

— Волки, бабушка, тебя не обидят.

Так вышло Спиридоновне ехать. Соседка пошла запрягать буланку, а волчонок, стерегущий буланку, побежал в казенный лес, оставляя на кустиках заметки, что Спиридоновна собирается на ночь ехать на буланке через казенный лес.

Ослепила метель все глазастое поле, залепила слух ушастому лесу, но волки по-своему знали, что этою ночью непременно стихнет, и даже покажется месяц. Старая волчиха-хороводница опять захотела испытать силу и ловкость своего лобастого друга, ставила метки в лесу, готовила большую гульбу. Осторожно, вдумчиво обнюхивая эти заметки, неслышно ступали волки по рыхлому снегу и собирались на опушке возле старой волчицы.

Не ошиблись волки, загадывая гулевую ночь: месяц скоро взошел, и показалась в поле черная мельница. Так чисто стало и заметно на белом: полынки стояли на меже и то на них волки посмотрели и подумали, не мужики ли это вышли на поле.

Лес прислушался. Далеко на Пониковке тявкала маленькая собачонка на луну. И огненным волчьим глазам было видно, как на белых серебряных волнах словно маленькая лодочка плыла: бежали деревенские

розвальни; и то покажутся высоко, то опять надолго спрячутся, и опять выплывет это и все подвигается и подвигается к большому черному острову — к этой мельнице. Вот и мельницу миновало, взбирается выше. Старый лобастый волк, замыкающий назади всю волчью цепочку, попросил себе у волчицы переднее место и приготовился выступить.

В это время Спиридоновна забылась, и ей представилось такое чудное, будто бы она уж и доехала, и на печке сидит с младенцем на руках.

Да, Спиридоновна ехала не по волчьим заметкам. Много она себе в жизни заметила сама и держалась этого своего пути, а буланка бежала и бежала. Так, если сам не видишь дорогу, всегда лучше довериться лошади: та знает, где твердо, а дернешь, выступит с дороги и потом уж из снега не выбьешься. Задремала старая, и представилось ей, будто она уж и доехала, сидит на печке, качает дитя, а внизу в избе волки. И вот сколько набралось волков, один на другого вздымаются, лезут все выше и выше к полатям...

Дитя не видит волков и все лучшеет и лучшеет, цветочки-яблочки на щеках, ручонками к бабушке тянется и зовет ее: мама.

А волки все лезут и лезут.

Тогда великий гнев охватил Спиридоновну, и только хотела было она швырнуть в волков чем ни попадя, вдруг спохватилась, сама кинулась с младенцем в самую гущу зверей, стала на колени, земно поклонилась и говорит:

— Батюшки волки, не ради себя, а ради ангельской душки прошу, уйдите отсюда, не пугайте дите, вы же сами отцы!

Что ответили волки, Спиридоновна не слыхала: пробудилась в сугробе, ничего не видно вокруг, только буланкины уши из снега, как рожки торчат.

Старый волк на опушке леса смутился: вот сейчас только сани показались на высоте и отсюда уж без всяких задержек должны скатиться прямо на волков, а вышло совсем по-иному: вдруг сани куда-то сгинули. Лобан подождал немного и, сильный, уступил свое первое место умной волчице.

Волчица вспомнила одно место повыше этого, выступила из лесной тени и глубокими снегами повела всех. Там сверху волки сразу все увидели и поняли, что на их счастье Буланка оступился и с моста свалился в сугроб. Сверкая при луне шерстью, как серебром, незаметно подкрались волки к самому краю отвершка и вдруг все разом глянули туда своими огненными глазами.

Металась Спиридоновна возле саней, но чем больше нукала буланого, тем глубже он опускался в сугроб. Только-только придумала было вылезть сама на дорогу и тянуть буланку за возжи, вдруг тут ей и сверкнули волки всеми своими глазами.

Спиридоновна, как была, так и осталась на месте неподвижная.

Старый волк опять переменился местом с волчицей, утвердился задними ногами, хотел прыгнуть, но тоже вдруг замер, как и Спиридоновна.

У волков есть ужасный страх к неподвижному, в котором таится может быть и живое. Даже нового выворотня боятся волки, не сразу подойдут, и только уж как бы умолив неподвижное в чем-то, робко подходят оставить на нем знак своего почета и трепета.

Оборвись и тресни под ногой у Спиридоновны какая-нибудь смерзшаяся и хрупкая полынинка или сама она двинься назад — волки бы непременно кинулись и разорвали бы и ее и Буланку в клочки. Но она не назад в страхе бросилась, а вперед шагнула, упала на колени, земно поклонилась волкам и молвила:

— Батюшки волки, не ради себя прошу, а ради ангельской душки, пощадите, ведь вы тоже отцы.

Поклонилась Спиридоновна, да так и осталась лежать еще более неподвижная и теперь еще более волкам непонятная и страшная. И уже дрогнули волки, — не бежать ли назад к месяцу от темного неподвижного и явно живого. Но умная волчица осторожно обошла своего лобана, понюхала неподвижное живое, отдала свой знак почета и трепета и удалилась краем отвершка. Потом по примеру старой волчицы, собирающей стаю, все волки почтили по-своему неподвижное, каждый, понюхав, оставил заметку. След в след за волчицей, исполнив все, как она им указала, волки покинули страшный отвершек.

Много раз от самой Спиридоновны мы слушали с трепетом рассказ о ее страшной волчиной ночи и много дивились обычаю волчьих заметок.

Добродушно улыбаясь, мирская няня заканчивает свой рассказ:

— Встала я, деточки, вся-то мокрехонька!

КРУТОЯРСКИЙ ЗВЕРЬ

I

Церкви не видно — вот какие леса вокруг озера! Только на самом верху Крутояра есть лысинка, и на ней в старом саду виден прелый господский дом с тремя деревянными колоннами. Тут исстари живут Верхне-Бродские. Отсюда из окон, — как на ладони все озеро Крутоярое и за озером поля Верхнего Брода и самое село, прислоненное к лесу. Церковь и колокольню закрыла сосна. Но из окон Павлик редко смотрит, он всегда в лесу или на озере, или в избе Тимофея внизу, где вьется тропинка к Темной Пятнице.

Бородатый Тимофей похож на самого старого глухаря в лесу. Детей у него — только дочка, в роде как дурочка, смирная, хлопот с ней никаких, и без горя ходил бы Тимофей с Павликом на охоту день и ночь, не будь у него сердитой старухи. Богомольцы часто захаживали в избу Тимофея и беседовали со старухой, научая ее божественному. А старуха все, бывало, ворчит на полесовщика. И хоть в лес не ходи после этого. Бабья журьба вредная: ничего не убьешь. Оттого-то перед охотой и ложится спать Тимофей поближе к своей старухе, разуважит ее, разутешит, приласкает и прислушается. Если сопит старуха, Тимофей чуть-чуть отодвинется. Опять прислушается, опять отодвинется, да потихоньку — вон. Без бабьей журьбы и зимой в метель, когда свету не видно, случалось Тимофею оглядеть занесенного снегом старика-глухаря. В полдерева под ветками, где спит старик, тихо падают снежинки на его голову, липнут к красным бровям и щекам, и так у глухаря будто борода вырастает. Тимофеева борода от снега тоже белеет, и оба — как один перед зеркалом: Тимофей похож на глухаря, глухарь — на Тимофея. Не погорячится охотник, — в метель принесет из леса домой глухаря. Вот что значит ходить в лес без бабьей журьбы.

— Хорош ли мой петух? — спрашивает охотник за обедом старуху.

— Сладок, сладок, Тимофеюшко, — отвечает старуха.

Вечером Павлик долго выспрашивает Тимофея, как и где он убил глухаря, и в мыслях сам убьет его сто раз. Оглянуться не успели приятели, зимний вечер прошел. Вот что значит охота!

Как самые близкие приятели, жили Павлик с Тимофеем. И весной, и летом, и осенью, и зимой — всегда они на охоте. Один только и есть месяц раздумья

у хозяина Верхне-Бродского, когда птицы на яйца садятся и нельзя охотиться.

Тогда Павлик бродит в саду и делает открытия: там ни от чего выросла целая куртина смородины, там малина, там новая яблоня и рядом стройный ильм. Павлик не замечает, что молодая-то яблоня — дикая, и вот-вот задушит старое славное б а б у ш к и н о д е р е в о. Павлик любит видеть хорошее, а плохое — бог с ним. И за это хозяину хорошо во всем. На скотном дворе прямо чудо случилось: гончие искусали чужую овцу и телку; пришлось их у мужиков купить; от этой овцы и телки развелось все крутоярское стадо, и теперь двор полон всякого зверья, и никто за ним не смотрит, все само живет и множится.

— Счастливец! — говорили другие помещики: — самые заботливые хозяева теперь в трубу вылетают, а беззаботный живет, у него от собак скотина разводится.

Но, конечно, и на Крутоярской счастливой лысинке бывали невеселые деньки. Случалось осенью, когда дождик идет, чудится Павлику во сне, будто тихие шаги приближаются, кто-то подходит с озера к окну и все близится и близится...

Просыпается Павлик; слышит, звенят колокольчики.

«Перед этим и снилось!» — подумает Крутоярский хозяин.

С колокольчиками может ехать только становой. Становой страшный, едет он описывать имение или за недоимкой. Мало ли за чем!

От такого гостя одно спасение — спрятаться. Все давно уж для этого прилажено. Кровать Павлика переделана из шкафа и так, что крышка отворяется не вбок, а вниз, и на крышке спит Верхне-Бродский. Зазвенят колокольчики, Павлик — в шкаф и за ремешок, нарочно приготовленный, тянет крышку к себе. Очень удобная вещь!

— Штык, Штык! — кличет Павлик из шкафа.

— Слышу! — отзывается сторож.

— На охоте барин, — встречает Штык станового.

Но незваный гость лезет наверх. Взберется и плюхнется в кресло из карельской березы перед грязным кухонным столом. Штык ставит на стол бутылку водки, стакан и подвигает тарелку с бараньей костью. Выпьет толстяк, закусит, оглядится. Все по-старому в доме барина: над кухонным столом висит дорогая лампа с пузатенькими ангелами, в углу вожжи лежат, и знакомая много лет кучка ореховых скорлупок, и везде, даже в ручках кресла, торчат порыжелые от времени окурки; громадный неуклюжий шкаф, как мужицкая печь, занял полкомнаты.

— Штык, — скажет становой, — ты, бездельник, хоть бы подмел барину.

— Работать не люблю, — ответит Штык, — люблю компанствовать, как барин.

Становой загогочет и нальет еще стакан. А Штык расскажет, будто он человек не простой, а благородного, но тайного происхождения. И тут же поднимет рубашку и покажет пять синих желваков от картечин, всаженных ему на охоте вице-губернатором: вот он какой, охотился с самим губернатором! Штык выговаривает не виц, а лис-губернатор, уверенный, что на свете есть и над лисами губернаторы.

Становой выпьет, закусит, вздремнет в старом вольтеровском кресле, и дальше...

— Унес чорт, вылезайте, барин! — крикнет Штык.

Звенят, удаляясь, колокольчики.

— Барин, гусь пошел, — говорит, входя, старый бородатый Тимофей.

От этих слов как рукой снимет злую напасть. Как огурчик свеженький, выпрыгнет Павлик из шкафа и радостно спросит:

— Тимофей, да что это за штука такая охота?

— Охота, — подумав, отвечает Тимофей, — потому охота, что охота, и больше ничего.

С этим согласится и Павлик. Но самого главного не замечали друзья, что охота всех роднит и равняет: и барина, и мужика, и лесного бродягу. И попадись тут хорошая собака, так и ей выпадет равная доля. Но вот как раз хорошей-то, умной легавой собаки и нехватало Павлику. Все его ублюдки, полукровки на охоте только мешают. Бывало, привяжет Павлик себе к поясу такого пса и подходит к птице. Взорвется петух. Пес за ним. Павлик за псом — и бух вниз. И птица улетит, и коленки в крови, и ружье забито землей. Рассердится Павлик, прицелится в пса: пах! — и готово.

— Три копейки истратил: цена выстрела, цена и собаке, — скажет Павлик.

— Чем бы не собака, — печалится Тимофей, — уши длинные.

— А хвост крючком, — отвечает Павлик.

— И стойки делала, — жалится Тимофей.

— Да ведь не мертвые стойки, — говорит Павлик, — нечего жалеть: три копейки цена.

II

В Безверск приезжал тот самый лисий губернатор, что когда-то сторожу Павлика всадил пять картечин в живот. С губернатором была неразлучная с ним Леди, дочь известного всем охотника Джека. Шерсть у губернаторской Леди была густая, ярко-рыжая, хвост пером, на лбу звездочка, на груди брошка, уши, как две косыночки, в надбровицах по три серебряных волоска, а мокрый нос всегда шевелился, будто везде в России ей дурно пахло. В этот приезд губернатора Леди была тяжела, сосцы напухли и отвисли. Встречаясь на улицах Безверска с му-

жицкими сапогами, Леди поднимала глаза и, шевеля серебряными волосками, так смотрела на проходящего, будто говорила:

— Вы, конечно, можете толкнуть меня в бок сапогом, но ради моего будущего потомства умоляю вас, не трогайте!

— Бессловесная, а все понимает, — бормотал удивленный такими глазами мужик и сторонился.

Верхне-Бродский, встречаясь с Леди, не только уступал ей дорогу, но и шляпу снимал и потом долго смотрел вслед.

— Как вежлива, — восхищался он, — вот бы щенка...

И представлялось ему, будто с такой собакой и жизнь стала бы совсем другая.

— Породиста! — говорил он.

— Золотая медаль! — отвечал Тимофей.

Просить щенка у губернатора Павлик не смел. Было известно, что л и с и й губернатор, как многие охотники, топил и зарывал в землю щенков из ревности, чтобы не было на свете собаки, подобной Леди.

— Собака при последнем пути, — сказал Тимофей, — украсть щенка?

— Укради! — одобрил Павлик.

С тех пор Тимофей стал караулить в овраге под мостом, где дерут лошадей, душат собак, топят крыс, зарывают щенков и котят. Долго ждал Тимофей и как-то раз услыхал жалобный вой...

Незадолго перед этим Леди ощенилась в конюшне, под яслями и, собрав девять щенков под себя, лежала утомленная, жарко и часто дыша. И вдруг дверь в конюшню отворилась, и вошел мужик с ведром.

— Я вам верю, вы благородны, вы не обидите моих детей, — казалось, говорили глаза матери-англичанки.

Мужик смотрел в ее глаза и с опаской погружал в ведро щенка за щенком.

— Помните, я вам верю, — повторяли глаза.

Мужик с ведром ушел.

Леди оглянулась на себя: капало молоко из упругих сосцов на солому, — детей не было. Леди и тут не подумала на мужика с ведром, а побежала в угол, где рожала. Долго она нюхала и раскапывала лапами навоз, выбилась из сил, ушла, забилась в самый угол под ясли и уснула. Молоко все бежало в сосцы, напрягало их и бросилось в голову. Вот тогда-то Леди вскочила, все поняла — и завыла. Тимофей услыхал и стал искать.

Где-то, отзываясь на вой, пищало. Тимофей пригляделся, заметил в земле рыжую слепую головку, выкопал, сунул за пазуху и побежал в дом Полюши.

— Кобелек или сучка? — спросил его Павлик.

— Сучонка, — сказал Тимофей.

А Полюша уже совала в рот щенку приготовленный детский рожок с молоком. Слепой наливался, дрожал.

Немного спустя Верхне-Бродский уехал с Тимофеем за реку, и ни один человек ничего не узнал, и сам л и с и й губернатор уехал, уверенный, будто на всем белом свете есть одна только Леди, дочь великого Джека.

Так, будто ветром березовую летучку, перенесло семя славного Джека в глубину Безверских лесов, на берег озера Крутоярого. Неведомая охотничьему миру, там росла вторая Леди, вылитая мать: и шерсть вышла у нее рыжая и длинная, и во лбу была звездочка, и на груди брошка, и уши, как косыночки, и в надбровицах серебряные волоски, и нос мокрый постоянно дрожал, будто в доме Павлика всегда дурно пахло. Два месяца ее поили из детского рожка молоком, все лето ходили за ней, как за малым ребенком, и выходили. Зимой она, как и мать ее, губернаторская

Леди, смотрела понимающим взглядом на беседующих за кухонным столом охотников: только что не могла сказать.

— С собакой, — наставлял Тимофей, — нужно держать себя постепеннее.

В крепостные времена Тимофей был помощником егеря и потому теперь себя считал понимающим.

— Бога благодарите за сучку, — говорил он Верхне-Бродскому в зимние вечера, — сучки всегда проворней и понятливей.

Павлик верил в Тимофееву мудрость и внимательно слушал.

— Дело божье, — наставлял Тимофей, — так свет стоит. Применитесь к нашему брату: когда-то мы еще начнем понимать, а девчонка уже и готова, и ребят нянчит, и в печь горшок сует.

— Ну, а после, — соображал Верхне-Бродский, — можно ли нас с бабами равнять?

— У нас, — говорил Тимофей, — так, а у них до старости сучки понятливей.

Высказав глубокую мысль, Тимофей любил положить в рот кусочек сахару и выпить блюдечко чаю.

— Сильной росой не пускай, — учил Тимофей, — собака захлебывается. Выходи не рано, не поздно, ищи выводок. Первое время не надейся на собаку, не отпускай от себя, топчи сам. Нашел выводок — и считай за великое счастье. Садись под куст. Жди. Будь тише себя, слушай, гляди зорко. Цыпленок свистнет, тетерка заквохчет, и пойдут друг другу навстречу. Зашевелится трава, разглядишь головки, перышки, росяные бродки. Тут весело, тут самому запахнет.

Но от Тимофеевых рассказов Павлику и так уж в комнате пахло. Он слушал и, глядя на Ледин нос, перебирал ноздрями.

— Может быть такой человек, — спрашивал Павлик, — чтобы чуял?

— Нет, — отвечал старик, — это человеку не дано, — и прихлебывал чай. — Им, — указывал он на Леди, — лисье передано, у человека же бог чутье отнял, а если бы человеку и пахло, то что бы было на свете?

— Зато нет человека хитрее, — возражал Павлик.

— Вот это ему дано! — соглашался Тимофей, — а чутья нет. У человека и волка нет этого, и справедливо.

Павлик смеялся, представляя себе, как волк чутьем бы знал, где стадо овец, а конокрад — где табун лошадей.

— Нет, это ему не дано, — повторял Тимофей.

«До чего все в мире так верно и хорошо устроено, будто приточено, — размышлял Павлик, лежа на диване, — и вот земля зачем-то сделана круглой...».

— Зачем это земля сделана круглой? — спрашивал он Тимофея.

— Для кабанов, — отвечал полесовщик: — по круглому кабанам лучше ходить, — и вспоминал, как однажды в здешние леса пришли кабаны.

— Откуда они пришли? — спрашивал Павлик.

— Из-под Киева, — объяснял старый охотник.

— А как попали в Киев кабаны? — загадывал Павлик, припоминая географию, но ничего не мог вспомнить, и сам от себя подвигал к Киеву какие-то азиатские степи с солеными озерами, где в густых камышах водятся кабаны.

— И орлы залетают, — говорил Тимофей. — Покойный барин сам застрелил на копне, лапы обрубил и послал в Петербург.

— Какие же у него лапы? — допытывался Павлик.

— Медвежьи, — глазом не моргнув, отвечал охотник.

Слушала Леди и, быть может, и для нее, вскормленной людьми, в зимние вечера вокруг земли шли кабаны и пролетали орлы с медвежьими лапами.

Так и прошло зимнее время. Грянули сверху и вдребезги разбились сосульки. Лед на озере сел. Начался щучий бой. Потом полетела птица и в лес, и на озеро.

Леди вышла в сад, будто монашенка в мир. Ветви неодетого сада, как жемчугом, были унизаны теплыми каплями. Весь сад был в каплях; сливаясь и блестя, падали они на прошлогоднюю листву. Молодая собака выбирала, за какою каплей ей броситься, какую искать. Порхнула первая бабочка — летучий цветок. За бабочкой хотела погнаться Леди — и остановилась: на угреве, распустив крылья, лежал воробей и смотрел на нее. Она подобралась, стала прямой, как скамейка, и окаменела.

— Очень вежлива! — сказал Павлик.

— Золотая медаль, — отозвался Тимофей.

— Очень умна! — хвалил барин.

— Природа губернаторская — объяснял полесовщик.

Скоро и леса опушились. Будто прилетевшие из дальних стран изумрудные невиданные птички, сели на старые деревья молодые листки. Навстречу им снизу, прокалывая старую прель, вышла трава и потянулась вверх все выше и выше, пока все сошлось и слилось. Весной в одетых лесах не охотятся: птицы на яйца садятся. Но где-нибудь, в диких местах, можно найти старика-петуха. Не охоты хотелось Павлику, а испытать собаку, чтобы сказать о ней последнее слово и полюбить на веки-вечные, и знать и говорить всем, что уже лучше нет на свете Леди Крутоярской.

Долго попустому ходили охотники и растеряли весь свой охотничий задор, и стало казаться им, будто

лес опустел, птицы перевелись и незачем ноги морить, и вся охота не стоит уморы. Везде были кусты и пни, закрытые папоротником. Как всегда, на однолетней посече высились кое-где семенные деревья и по ним было видно, как не легко жилось в лесу: на одном дереве ветви были только сбоку; у другого на длинном голом стволу — только зеленая макушка; третье дугой изогнулось; все изуродованные, искалеченные изнывают они в тоске на свету и будто просят закрыть себя. Охотники натыкались на пни, закрытые папоротником, разбивали колени, царапали руки, изнемогали от жажды.

Много осталось на сучьях волос от Тимофеевой бороды, и думал Тимофей об одном: как бы поскорее добраться до воды и напиться в Зеленой луже. Павлик и на Леди не смотрел, а вспоминал почему-то свою бабушку, у которой были добрые и сердитые камешки: вынется добрый — и бабушка весь день хорошая, вынется злой — и бабушка весь день сердитая. И до того избили ноги охотники, что уж к Зеленой луже приползли на четвереньках. Вода в болоте стояла черная, плавали радужные кружки, скакали наездники, крутились жучки-вертунки, кишмя-кишела всякая нечисть. Тимофей, как всегда в таких случаях, расстелил свою бороду по болоту и через нее стал цедить в себя воду. Павлик припал к бороде с другой стороны. В это время и Леди неслась, как ни в чем не бывало, на посече к Зеленой луже. И вдруг ее будто кто стегнул спереди; остановилась она; левое ухо болтнулось, вывернулось и так осталось завернутым. Павлик почуял, дернул Тимофея за бороду, показал. Закапало, — полилось с бороды в Зеленую лужу. Павлик даже и этого шума испугался и, вытянув Тимофею губы, прошипел:

— Выжми!

Тимофей подался к сухому месту, скрутил из бо-

роды канат и, не расправив, стал красться за Павликом.

Вот когда полон лес! Роса еще не совсем сошла: трава, листья сверкали; все, что касалось их, становилось серебряным. Леди сияла и дымилась от волнения, звала глазами, торопила и, услыхав сзади легкий шорох и дыханье, п о в е л а.

Много в зеленых папоротниках было черных пней, всюду были Иваны и Марьи, волчьи ягоды, барвинки, былинки с малыми пташками — ничто не занимало. У чистой полянки Леди остановилась и, должно быть, подумала: «Не на ней ли?» Все остановилось позади, и все в страхе подумали: «Не тут ли, на открытом месте?». Леди прилегла к земле и переползла полянку. За ней ползли на животах Павлик, Тимофей, а за ними все черные пни, все зеленые папоротники, Иваны и Марьи, волчьи ягоды и пташки с былинками. Все смотрели на куст по ту сторону полянки. Оттуда Павлику пахло глухарем, но он успел одуматься: не глухарь пах, а порох в ружье и масло в замке. Тимофей чем-то хрустнул. Леди оглянулась. Павлик диким, ужасным взглядом посмотрел назад. Возле того куста, куда все ползли, и все ползло, Леди сделала один мелкий шаг и другой, на половине же третьего замерла и остановилась с поднятой лапой. Побыв так немного, она стала повертывать нос туда, где пахло, а завернутое ухо стало сползать и, когда ухо совсем сползло и повисло, Леди совсем окаменела, глаза ее стали неподвижными, безумными.

Куст был весь покрыт мелкими розовыми цветочками и гудел: бабочки порхали, пчелы стреляли во все стороны, жуки жужжали, басили шмели. На кусте был большой праздник; там никто не слушал человеческое сердце, стучащее, как чугунная гиря, и никто не догадывался, что внизу под кустом сидело ужасное и огромное.

Как темная туча, вырвался из куста черныш: посеча ахнула, и лес вокруг захлопал и затрещал.

Вот когда в груди умолкает стук, что-то будто отрывается и улетает.

— Отпустить — не уйдет! — шепчут какие-то чужие голоса.

И уж все само собой делается и, хотя не видно за дымом, но чудится, как прыгает за кочкой красная бровь, то покажется, то спрячется.

Полон лес! Под каждым кустом сидит черныш. И всегда будет так: теперь найден ключ от всех кустов, пеньков, ямок, овражков, логов и болотных кочек.

Сколько времени прошло, а все было серебряное утро. На Зеленой луже Тимофей опять расстелил свою бороду. На другом конце припал к бороде счастливый охотник. Собака вошла в воду, — выбежала серебряная. Недалеко от Зеленой лужи в лесу по кладкам медведица переходила с медвежонком ручей. Сама старая перешла, а неуклюжий бултыхнулся и выскочил весь серебряный и побежал за матерью: пых-пых-пых! Лосенок в чаще навострил розовые уши и тоже стоял серебряный. Луг у реки был весь — как медовая сота.

— Цены нет собаке! — воскликнул Павлик.

— Золотая медаль! — сказал Тимофей.

III

У Павлика Верхне-Бродского крысы заполонили весь дом. Что-что он с ним ни делал: дырки заколотил в полах, отраву и крысоловки ставил, из ружья стрелял — крыса все лезла и лезла.

Вот в это-то нехорошее время и собрался Павлик ехать в Безверск и взял с собой Леди. Проехал он леса и поля. И уж стал он подниматься на Тяпкину

гору, как вдруг показалось ему, будто на небе как-то особенно зашумело, зашумело и ахнуло. Павлик, удивленный, посмотрел на небо, а на небе ничего не было, только галки дрались с копчиком.

— «Так себе», — подумал Павлик, и хотел было погладить Леди, но ладонь его прошлась по пустому месту. Оглянулся. Там по синей реке монах переводит паром. Леди нет. Посмотрел вперед, где качаются черные колокольные языки и кипит базар, — Леди нет. Нигде нет любимой собаки.

— Тимофей, — сказал Павлик упавшим голосом, — Леди пропала.

Посмотрел Тимофей назад, где монах, и вперед — на базар и на колокольни, и даже на небо, где галки щипали копчика, нигде не было Леди.

— Как протаяла! — сказал Тимофей.

Безверский базар — кипучий. Из лесных трущоб, с моховых болот, с гор и низин, со стороны Верхнего Брода, от Темной Пятницы и от Сухого Сота, и от той стороны, где еще никто не бывал, съезжаются на базар крещеные люди. Кипит люд на площади, будто сельди в Белом море; воткнуть метлу, и пойдет метла по базару сама.

— Дядя, не видал ли рыжую собаку с длинными ушами? — спросил Павлик мужика.

Долго осматривал с головы до ног Павлика серый мужик в шляпе черепельником и, наконец, тоже спросил:

— А ты чей, дядя?

И вдруг загудели все колокола, — кончилась обедня, повалил народ из церквей и унес мужика и Павлика в разные стороны.

— Новая планета царя Магомета! — кричал черноусый ловкач.

— Не видал ли рыжую собаку? — спросил ловкача Павлик.

— Пробежала! — показал ловкач в сторону, где визжал поросенок.

— Новая планета, — услыхал за собой Павлик, — не тлеет, не горит, — всю правду говорит!

Впереди заливался поросенок, будто его за язык подвесили, — это городовой тянул его к себе за ноги, а поросятник отбивал, тянул к себе за уши.

«Вот у кого спросить», — подумал Павлик.

— Видел, — сказал городовой, — пробежала рыжая.

— А может, не рыжая?

— Все может быть!

— Цела, цела, видели! — заговорили кругом мужики.

— В стеклянную дверь лапилась, — сказал льняной дед на возу.

— В мясном ряду видел, — сказал желтый, как подсолнух, мужик.

— Возле лавки купца Пыльного грызет два коровьих рога, — сказал прасол.

— Рыжая?

— Черная!

— Как горелый пень!

— Разноухая!

— Лоб с выломом.

Мужики смеялись над Павликом.

— Барин, не слушай ты их, — говорил с воза льняной дед; — слушай, что я говорю: — твоя рыжая собака лапилась в стеклянную дверь.

Павлик насилу выбился с базара к какому-то большому белому дому, с решетками на окнах. У ворот дед с ощипанной бородой давал своей лошади черную корку.

— Две недели не ели, господь кормил, — говорил ощипанный дед другому деду в лыковых лаптях, — под арестом сидела.

— А сам? — спросил лыковый.

— И сам сидел, — усмехнулся ощипанный.

«Белый дом, — понял Павлик, — полиция!» — и он вошел туда.

Посинелый от смеха, сидел за столом пристав.

— Хи-хи! — осторожно смеялись писцы.

— Хихима замучила, — извинился пристав перед Павликом.

— Собака пропала, — сказал Павлик, — рыжая с длинными ушами.

— Были у Волчонка? — спросил пристав, — не ободрал ли?

— Как? — испугался Павлик.

— А как же, — ответил пристав, — собак не драть, так что бы тут было!

— Зачем же они ему нужны?

— Он шкурки под лисиц красит! Молодчина!

— Прошлый год семьсот ободрал. Рыжих любит. Рыжую не пропустит. Ваша рыжая?

— Как лисица.

— Ну, так ободрал.

Писцы захихикали.

— Вот хихима-то напала, — снова извинился начальник, но уж вдогонку.

Вихрем все кружилось на улице перед глазами Павлика, а когда он сосредоточился и посмотрел вперед, — улица представлялась ему такою длинною, будто смотрел он в бинокль обратными стеклами. В самом конце длинной улицы, представилось ему, сидел Волчонок возле ободранной Леди. Павлик прямо и пошел туда, где виднелась красная туша и остановился, когда увидел и понял: не ободранная Леди виделась ему, а корова на двери лавки купца Пыльного, красная, без головы. Тут же висела свинья, белая, как живая, только с выпотрошенным брюхом. У порога лавки валялись два окровавленных коровьих рога. Сам Пыльный, мясник, хороший знакомый Пав-

лика, сидел за столиком между красными тушами и пил чай.

— Стаканчик чайку! Как охота?

— Собака пропала. Волчонок ободрал.

— Рыжая?

— На лисицу похожа.

Пыльный задумался и надолго остановил свои черные рачьи глаза на пне, где сек курам головы. Он был добрый человек, думал тяжело и долго.

— А может, не успел ободрать, — перевел он глаза с куриного пня на Павлика, — может, захватите; ваша собака необыкновенная, не завалюха: захватите! Бегите скорей, — за речкой белый каменный дом.

«Захвачу! — радовался на ходу Павлик не той широкой охотничьей радостью, а острой и колючей, что вот-вот соскочит. — Семьсот ободрал, а эту захвачу.— радовался Павлик этой новой радостью.

Итак, перебежал он деревянный мост и остановился возле бакалейной спросить о Волчонке.

— Вот Волчонок! — сказал лавочник.

Павлик обернулся и увидел перед собой белый каменный дом. Золотыми буквами над воротами было написано: Дом почетного гражданина Волкова.

— Волков! — изумился Павлик.

Волков, церковный староста и фабрикант знаменитой Безверской пастилы, был такой же его приятель, как и Пыльный.

— Неужели он собак обдирает?

— Дерут, — сказал лавочник, — тем и дом нажили.

— Я потерял собаку рыжую.

— Очень просто, что у них, — лавочник посоветовал, чтобы Волков не отперся, заглянуть в щелку через ворота: не висит ли свежая шкурка.

Павлик пошел к воротам и заглянул. У Волчонка двор был большой, мощеный, окруженный сараями.

Из конца в конец на нем были протянуты веревки, и на них сушились собачьи шкурки. Сам длиннополый хозяин ходил между шкурками и постукивал по ним палочкой. Сухие отзывались на стук, сырые болтались как тряпки. Готовые Волков снимал с веревок и складывал возле сарая.

«Вот он какой, — подумал Павлик, — отчего же я раньше не знал?»

Хлопнуло окно в доме. Павлик поскорее открыл калитку и вошел во двор.

— Собаку потерял рыжую, вы ее не... тронули?

— Рыжих нынче не принимал, — ответил степенно Волков, — черного принесли.

«Вот какой, — думал Павлик, — он и не скрывается, как же я раньше не знал?»

— Зачем вы это делаете? — спросил он купца.

— Как зачем? — удивился купец: — тем занимаюсь, а вы думаете, по нынешним временам одной пастилой проживешь? И то дело, и это дело. Собачьи шкурки тоже необходимы: и мех, и лайковые перчатки.

— Это из собак?

— А как же! — засмеялся купец. — Нет, это дело тоже полезное: драть собак нужно, только знать надо — каких собак. Ваша собака необыкновенная.

— Так вы ее не ободрали?

— Господь с вами, я не живодер.

— Как же черного-то?

— Черного принес Петька Ротный; он дерет; к нему бегите; может, захватите.

Павлик побежал.

Будто в лесу, когда после долгих блужданий попадешь на верный последний след и когда уже нет сомнений, что верно идешь, шел Павлик по Петькину следу.

— Какой Петька Ротный, где он живет? — спрашивал Павлик едущих с базара мужиков.

— Мы не здешние, — отвечали они.

«Что как, — думал Павлик, встречаясь с мужиками, — кто-нибудь из них приласкал собаку, подманил и увел с собой в деревню? Нет, — решал он тут же: — мужик не подманит; мужик норовит собаку обругать и ударить. Нет, это все Петька Ротный, это все в нем сидит в одном».

— Какой Петька Ротный, где он живет? — спрашивал Павлик пешеходов.

— Да все такой же, как и мы, — отвечали пешеходы, — только жительства настоящего не имеет, да поддевка у него с разными рукавами, да зубы на виду.

— Зубы все-таки на виду, — замечал Павлик, — а где же он дерет?

— Под мостом, — отвечали пешеходы.

Пришел Павлик к мосту. С виду — это самое красивое место в Безверске. Деревянный самодельный мост, будто дружеская рука, протянулся он от холма к холму, где красуются все лучшие церкви. Тут, на мосту, Павлик часто любовался, бывало, лесом ив, склоненных над речкой, и бросал вниз камешки, стараясь попасть в грачиное гнездо. Теперь он спустился вниз и пошел искать между ивами Петьку Ротного. Когда-то здесь Тимофей подстерег только что родившуюся и зарытую уже Леди. Теперь — на каждом шагу попадались собачьи скелеты. Там воронье расклевывало тушу лошади; там жуки-могильщики хоронили издохшую кошку; там голуби, мирно воркуя, выклевывали из груди убитой ястребом птицы какие-то зерна.

— Все Петька Ротный! — шептал Павлик.

— Ты, Павлуша, с ума сошел! — услыхал он над собой голос.

Полюша, его приятельница, швейка из слободы, стояла на мосту и кудахтала, как курица.

— Ищу Петьку Ротного, — ответил Павлик: — злодей собаку мою ободрал. Принеси мне ружье, убью Петьку Ротного.

Полюша всплеснула руками и побежала вниз.

— Ну иди, иди за мной! — уговаривала Полюша и вела его, как водят женщины пьяных мужей. — Да можно ли так из-за собаки убиваться? — ласково говорила она, — да какой же Петька злодей? Каждый своим делом занимается. Каждому есть хочется. И собаки-то ведь стаями развелись, кипятку нехватает ошпаривать. Да и закон есть такой, чтобы истреблять собак. — Не видали Петеньку Ротного? — спросила она, когда выбралась наверх из оврага.

— В бане! — Он теперь банным старостой.

— Вот, видишь? — говорила Полюша, — ты все: злодей, злодей!.. а он и место хорошее получил, служит. Может, и собак не дерет?

— Дерет, — ответил прохожий.

Наверху у самого обрыва стояла кирпичная стена, из нее через дырку валил пар, а пониже дырки было окно, где жил банный староста.

— Дома Петенька? — постучала Полюша.

— Петьки нету, — сказали оттуда, — он в трактире, пирожные ест.

— Как пирожные! — встрепенулся Павлик, будто его разбудили.

— Так, — сказала Полюша, — ты говоришь: злодей... а он вот так всегда: как завелись мало-мальски деньжонки, покупает пирожные и всех, кто есть в трактире, потчует. В рот капли вина не берет, а ты: злодей! Хороший человек, богомольный. Могилка у него есть на кладбище, так всю цветами убрал и даже зимой дорожку расчистит к могилке и посыпает песочком.

Так, убаюкивая Павлика, подходила Полюша ближе и ближе к трактиру на базаре, и, наконец, в окне показалось белое лицо с блаженной улыбочкой, обнажавшей острые зубы.

— Слышал, слышал, — ласково сказал Петька Ротный, — рыжую не ловил, черный готов.

— Разноухий, лоб с выломом? — спросил городовой.

Петька мотнул головой и накусил шоколадную трубочку.

— Рыжую суку цыган увел, — сказал поросятник.

— Все может быть, — согласился городовой, — цыганский нос — вострый.

— Не цыгане, — перебил прасол, — сербы.

— Все может быть, — ответил городовой, — но только ежели сербы, то плохо.

— Барин, не слушай ты их, — говорил белый дед с воза, — твоя рыжая собака лапилась в стеклянную дверь.

— Слушай деда, — усмехнулся, сверкая зубами, Петька Ротный, — дед знает, что и под кореньями растет.

Полюша увела Павлика с базара.

— Уймись, Павлуша, забудь, — утешала она его дорогой: — цела твоя собака, сам увидишь; к вечеру прибежит, огуляется; знаешь, собачьи свадьбы, — вот и убежала.

Но и вечером не пришла Леди домой.

Стеклянная дверь, в которую, по словам белого деда, лапилась Леди, не выходила из головы Павлика.

Ночью Павлик видел тяжкие сны. Ему снилось, будто идет он к какой-то стеклянной двери и уж видит стеклянную дверь, а дойти не может.

Возле Неуродимого луга вьется пыльная дорога с отпечатками копыт, звериных лап и босых челове-

ческих ног. Шесть зайцев один за другим перебежали дорогу и скрылись в придорожных кустах. Черный дрозд запел вечернюю зарю. Заблеял бекас. Затрубил пастух. Зайцы опять перебежали дорогу, все шесть один за другим, и пошли вверх на холм, к опушке дубравы. Там, у первого дуба, первый заяц присел испуганный и пустился назад в кусты. Другой заяц так же, как первый, добежал, присел и свернул. Все шесть зайцев убежали от страшного дуба, скрылись в кустах и там слушали длинными ушами и глядели на дорогу круглыми глазами.

В зеленых полях, где выступал, будто черный корабль, угол далекого леса, на белой дороге взвилось облако пыли, близилось и росло. Оттуда слышался вой и звериное рычание. Павлик под дубом проснулся. Коровы и пастух показались из леса.

Впереди бежала рыжая собака, за ней по пятам неслась черная морда с отвислым языком, потом еще такая же морда, и дальше без конца в пыли виднелись все пасти и спины. Это мчалась весенняя собачья свадьба. Павлик пригляделся, сложил ладони у рта и свистнул. Вся свадьба повернула с дороги от Неуродимого луга вверх на холм, к дубраве.

Леди узнала своего хозяина, взвизгнула, бросилась ему на грудь и еще раз прыгнула повыше, еще и, наконец, сунула прямо в лицо своим холодным, мокрым носом. Свадьба смешалась, окружила дуб. Псы, готовые растерзать каждого, на кого укажет их рыжая водительница, теперь мирные, уселись на корточки и, свесив языки, тяжело дыхали и хахали. Вокруг Павлика были звери: они кроткими рабскими глазами смотрели, признавая в нем старейшего и сильнейшего между всеми. Леди жалась к его ногам, умоляя пощадить свою покорную свиту. Павлик пробовал бить их камнями и сучьями, но псы, принимая удары, не двигались с места. Тогда, повесив ружье за плечи,

он пошел на дорогу к Верхнему Броду. Первый пошел за ним черный овчар, вторым белый овчар и потом все другие в строгом порядке от сильнейшего к слабейшему. Шли белые, черные, серые, красные, бурматые, чубарые; всех возрастов, всех мастей и всяких пород; растянулись псы по пыльной дороге: вислозадые и вислоухие, переслегие и прибрюшистые, длиннохвостые и куцые, долгоносые и курносые; шли псы, не отставая, нога за ногой. Некоторых Павлик хорошо знал: два атласно-черных с белыми колечками на носах — прасоловы, красный с перебитой ногой — дьяконов, хриплый старик с седым носом — поповский. На самом конце, чуть видная, бежала шавочка со старушечьим ликом, белыми, как чеснок, зубами, ростом в пол-Лединой ноги. За ней, отступая, бежал удивленный и глупый теленок и то остановится, то вдруг брыкнет задом и пустится скоком догонять свадьбу.

Павлик не пошел в село через околицу, а перелез забор у загуменной дорожки. За ним полез черный овчар и белый — и все. А когда Павлик прошел все село и свернул на стежку, вся загуменная дорожка была покрыта зверями, и только последняя шавочка визжала по ту сторону, и мычал теленок, положив на изгородь голову.

Стежка с крестьянских полей выводила на тропинку к Темной Пятнице и шла возле озера, где над водой, будто голова великана, простертого в полях, высился озерной крутояр. По каменным ступеням, выложенным когда-то давно Верхне-Бродскими, Павлик поднялся наверх и постучал в калитку.

— Нашлась! — сказал он отворявшему калитку Штыку.

— Пакость какая! — сердито проворчал сторож и захлопнул калитку перед самым носом старшего овчара.

По цветущему саду Павлик прошел в свой дом. Тут все было попрежнему: и лампа с пузатенькими ангелами, под ней кухонный стол с привернутой машинкой для закручивания гильз, и шкаф с откидной крышкой, и вожжи в углу. Воздух был нехороший, спертый. Во все стороны шарахнулись большие, ровно кошки, крысы.

Павлик открыл окно. Пахнуло цветущим садом, сиренью. В этом году была дружная весна. На целый месяц раньше сбежала вода, и пробилась первая трава, и листики, будто зеленые птички, сели на ветви, и перекинулись от дерева к дереву висячие зеленые мостики, и зацвела черемуха, яблони и, наконец, сирень, — все одевалось и цвело в саду месяцем раньше, и все в саду было давно готово для встречи птиц. Но далекие птицы не знали о здешней ранней весне и ждали обычного времени. Так случилось и в этом году, что в саду, одетом и украшенном цветами, молчали соловьи, золотая иволга не купалась в зеленом свете лип, а в заросли цветущего терновника не мелькали красные, желтые и малиновые головки. Нарядный, цветущий сад молчал над озером.

Павлик открыл окна и, не зажигая огня, усталый, пошел к постели. Крышка его шкафа была откинута, тюфяк и подушка валялись неубранные; возле лежал сенной матрац для Леди. Павлик лег, не раздеваясь, лицом к шкафу, Леди легла на сенник. Как и прежде, засыпая, он положил ладонь на ее голову, но ему казалось, будто что-то было не так, как раньше. Он долго лежал с открытыми глазами и смотрел на медный крючок, запирающий вверху крышку шкафа. Крючок сначала был темный и висел головкой книзу, потом стал светлеть и заблестел и перевернулся топориком.

«Месяц всходит, — думал, засыпая, Павлик, — нужно было встать и толкнуть крючок, мешает! — но

сам все лежал и смотрел на крючок и дышал сиренью, стараясь вспомнить, чем она пахнет: в этом запахе было что-то забытое, неузнанное и неразгаданное, внизу под слоем приятного запаха чудилось что-то темное и страшное, — все это от крючка, непременно нужно его толкнуть!»

И вдруг заревело, лопнуло, что-то треснуло, поднялось с озера.

Павлик очнулся.

Большой и красный стоял в окне месяц, а пониже его, свесив черные языки, с горящими глазами сидели два пса. И в другом окне, и в третьем, и в четвертом— везде, положив на подоконники лапы, дыхали и хахали в комнату псы.

Павлик бросился в угол, схватил вожжи и хлестнул по мордам псов. Псы взвизгнули, шарахнулись и скрылись в сиреневых кустах.

Месяц красный стоял над озером. Пела лягушка-турлушка о покое вечном. Стоя, протянув перед собой лапы, как руки, летел огромный жук, на весь сад жужжал.

Павлик лег на подоконник. Ему чудилось, будто идет он по тропинке к Темной Пятнице и видит, как, шевеля тростинками, вышла на берег черная водяная курочка на зеленых ножках, смотрит на него — не боится. А озеро не такое, как прежде: озеро совсем светлое, так ясно видно, где щука спит, где стоит окунь, как ходят тихо у дна большие седые лещи и как сом на самом низу шевелит губами. А в саду на площадке, усыпанной желтым песком, стоит его маленькая покойная сестра, ждет его, чтобы вместе играть в огонь и воду — недозволенные детские игры. А на дерево, родоначальник всего сада, слетаются всякие птицы и поют, разными голосами перекликаются и перезываются. Весь Крутояр — в светлых прозрачно-зеленых деревьях.

Еще один жук стояком, протянув вперед лапы, как руки, пересек красный месяц и, пролетев у окна, разбудил Павлика.

Колокол ударил.

«Покойникам обедню служат!» — вспомнилось Павлику.

Еще раз ударили в колокол и в третий раз ударили. И звезды будто отозвались на небе земному звону. Запел настоящий здешний соловей, и другой отозвался ему, и скоро весь сад через озеро перекликался с лесом.

«Соловьи прилетели, — обрадовался Павлик, — вот когда начинается настоящая весна!»

И вдруг Леди прыгнула через него и очутилась в саду. Павлик позвал ее. А в ответ в сиреневом кусту шевельнулись две маленькие луны. Он посмотрел туда пристально и увидел множество маленьких зеленых лун. Наверху в ветвях все пели соловьи, и пахло, душило сиренью, а внизу сходились и расходились огни, будто шептались там заговорщики. Из-под сиреневых кустов, погруженных в лунные тени, выходило тяжелое дыхание.

Павлик взял вожжи, сошел на ступеньку террасы, потом на другую и так до самой площадки, окруженной сиреневыми кустами, и остановился. Против него пасть к пасти во всю ширину сада стояла стена зверей, за этой стеной другая стена и третья стена во весь сад, до терновника. И по терновнику — по склону крутояра до самого озера под красным месяцем были видны черные спины и спины.

Соловьи пели. Пахла, душила сирень. Пересекали месяц жуки.

Павлик отступил к террасе, а звери шагнули вперед — голова к голове, спина к спине, хвост к хвосту.

Павлик позвал свою Леди.

И на зов его, оскалив зубы, выступила из синевой

тени на светлую площадку рыжая... Не рыжая Леди крутоярская, с серебряными волосками в надбровицах стояла перед ним, а чужая собака.

— Не та!—прошептал Павлик и взмахнул вожжей.

Рыжая сильней оскалила зубы и зарычала. И вся несметная звериная сила двинулась со звериным ревом на светлую площадку в сиреневых кустах прямо на Павлика.

В долгие осенние вечера под соломенными крышами странники от Темной Пятницы рассказывают о крутоярском звере.

Выходит зверь будто бы в темные полночи, и никто его видеть не мог, но все знают, что губы у зверя телячьи, и никто его слышать не мог, но все знают, что кричит зверь черным голосом, и кто услышит его, пропадет.

И далеко кругом до самого Безверска, и дальше до Сухого Сота, и до той стороны, где никто не бывал, во всех селах и деревнях безверских неисходимых лесов чуть что недоброе случится, сейчас все на зверя валят. То же потом сказали, когда вдруг умер Павлик, последний в роду Верхне-Бродских: на его голову зверь кричал.

На Павликову голову зверь кричал:

— Час мой — роковой!

ПТИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ

I

Поздней осенью настал час покинуть перелетным птицам страну льдов и незаходящего солнца. Звеня крыльями, как стаи пущенных стрел, птицы полетели с полярных островов на юг. Вверху тучи висели как

размытые гребни осенней унылой пашни. Внизу у черных безлесных скал, будто одна из великих серых рыб, на которых стоит земля, с боку на бок перевертывалась — океан качался у берега. Когда из-под тучборозд вырвались светлые мечи, пронизали их, разбили, рассеяли, и второе голубое небо, высокое, открылось, и когда повеяли ароматы земли, — птицы стали спускаться на скалы, из воды на камни вышли усатые звери с человечьими головами.

«Не назад ли вернуться?» — казалось, думали птицы рядами сидя, отдыхая на скалах.

Гуси, большие птицы, не верили в ароматы безлесной земли. Скрипя маховым пером, они степенно пролетели над черными скалами. Гусиный царь неустанно звал вперед, просил не обманываться вторым голубым высоким небом, на короткое время просиявшим и здесь. Как корабли близкие, но закрытые друг от друга волнами — последними тучами, перекликались гуси, и когда открылось все небо, без конца вдали виднелись бисерные нити летящих над океаном птиц. Они летели, не опускаясь на скалы, зная, что это не их земля и что далек их путь в страну обетованную. Не оглядываясь, летели серьезные строгие птицы, и скоро затихло назади их внизу то, что, будто великая серая рыба, на которой стоит земля, с боку на бок перевертывалось.

Гуси перелетели океан и спустились отдыхать на реке, где первые стелющиеся березки чуть-чуть поднялись на берегу, чтобы взглянуть на отдыхающих птиц. Купаясь в воде, советуясь, уговаривая в чем-то друг друга и, наконец, уснув в тихой заводи, провели здесь птицы беззвездную ночь. С первым утренним светом они двинулись дальше и отдыхали вторую беззвездную ночь в сырых мхах под с е д у х а м и - соснами.

Третью ночь птицы летели не отдыхая. Назади их

сияла полярная звезда, впереди далекий лежал Птичий путь.

Прекрасен был рассвет прозрачной осенью над лиственным лесом. Будто заря занималась, светились золотые клены и березы вокруг синего озера.

Увидав издали озеро, гусиный царь послал двух быстрых гусей лететь вперед, — осмотреть место для долгого приятного отдыха. Трепеща крыльями, как прясточки, остановились два быстрых гуся над озером, окруженным золотыми лесами.

Кто видел их тут стоящими в воздухе над озером? Кто слышал, как они друг с другом советовались?

Солнце взошло.

Гуси золотые вернулись к летящим усталым товарищам и сказали по-своему:

— Прекрасно синее озеро в золотых краях.

II

Светлое лесное зеркало, озеро Крутоярое, от множества отдыхающих на нем осенью птиц перестает отражать в себе высокую белую церковь села Верхний-Брод и все четыре холма, окружающие озеро. Тот холм, где стоит Верхний-Брод, самый высокий и сверху донизу лыс. Второй весь покрыт светлым березняком. Тут родится великое множество белых грибов. Третий холм покрыт старым, запущенным парком и наверху его небольшая полянка с домом, где некогда жили господа Верхне-Бродские. Теперь лето и осень здесь проводит барин, по прозвищу Принц, любитель охоты и старинного барского житья. Между третьим и четвертым холмами в озеро стекает светлый ручей, и на нем лежат кладочки. По той стороне кладок, вверх за ручьем, поднимается белая славная тропинка. Как ручей, так и тропинка: спрячется тропинка в ракитовом кусту — и ручья не видно в траве, только осо-

ка шевелится да снигирь, птица радости, насвистывает; ручей сверкнул на солнце, — стрельнула тропинка под соснами; дальше и тропинка и ручей исчезли в большом лесу, и слышно только, что кипит большая радость там.

Четвертый холм спускается не в большое озеро, а в узкую ленту воды — озерный хвост, где кучками торчат камыши, будто нечесанные головы водяников. Тут, в хвосте, вся перелетная птица останавливается, и рыба забегает большими стаями. Тут, на берегу, приютился Степан-Жолудь, рыбак и охотник. Половина его избы белая, новая, половина черная. На вечерней заре, когда станет вовсе темно и когда в воду спрячутся даже и те кучки камышей, похожие на косматые головы, долго виднеется белая половина Степановой избы; она последняя скрывается. Белая скроется, — в черной ненадолго появится огонек. Месяц оглядится, — белая снова покажется. В ночь темную все так простоит — невидимо.

В белой половине Степановой избы на время птичьего перелета в прежнее время съезжались охотники. Теперь, когда Принц поселился, охоту запретили. Принц, пожелавший сделаться охотником и жить, как в старину жили настоящие господа, был охотник жадный и оберегал для себя птицу строгими законами. Но как только он поселился здесь и запретил охоту, птицы все меньше и меньше стало прилетать на озеро.

— Не охотники переводят птицу, не в них дело, — уверял барина Степан-Жолудь.

— В ружьях, — говорил Принц, — охотники и прежде были хорошие: в ружьях дело.

— И не в ружьях, — прищуривая свои насмешливые узкие, но зеркие глаза, говорил Жолудь, — как нынешние мастера ни старайся, за прежних не сработают.

Принц вспоминал, что лучшее свое ружье он нашел

в старинном доме господ Верхне-Бродских, и молча соглашался с Жолудем.

— Так отчего же птицы становится меньше? — спрашивал он в раздумьи.

— Бог знает, всего меньше становится, все слабеет: летом жар не тот, зимой снега меньше, земля не родит, господа перевелись настоящие, вот и птицы стало меньше: улетает.

— Куда улетает птица, куда девается? — спрашивал барин, пожелавший сделаться охотником.

Никогда бы не спросили так Степана прежние господа — настоящие охотники: те сами это знали и не делали мужику лишних вопросов. Сбитый с толку Степан ничего не отвечал на странный вопрос, а только повертывал свое желтое, желудиное рябое лицо в ту сторону, куда птица летит, и смотрел зеркими глазами вдаль, где лугом бежит белая дорога.

— Улетает т у д а! — показывал рукой Жолудь.

— А весной возвращается назад, — говорил Принц, — отчего же ее меньше?

Жолудь долго почесывал свой живот, соображая: «И как это может быть, что птица улетает и вертается, а на озере ее меньше становится?»

— Нет, — говорил, наконец, Степан, — весной птицы меньше, о т т у д а она не вся вертается. Вон грачовник, — указывал своей лапой Степан за озеро, — все поле черно от грача. Бавятся[1] в поле и старые, и малые, и дедушки, и бабушки, и внучата, и здоровые, и больные, и вовсе хилые. А завтра морозы притякнут, бавиться нечем будет, — весь грачовник поднимется и улетит. Где же больные и старые? Кошка в дрова уходит помирать, язва[2] — в нору, а куда птица летит помирать? Т у д а! — указывал Степан в за-

[1] Бавятся пробавляются, кормятся.

[2] Язва барсук.

озерную, лесную синюю даль. — Там у них кладбище, — говорит Степан, и на его рябом желудином лице показывается что-то вроде улыбки, закрывающей и вовсе его зеркие глаза. — Птичье кладбище...

И так это скажет Степан, что уж и не поймешь: смеется он над барином, или вправду верит, что в теплых краях есть настоящее птичье кладбище.

У Принца робкие пустые глаза, как у малолетних обреченных детей, уши без мочек, лоб уходит назад и далеко впереди всего лица на длинной нижней челюсти висит рыжая бородка; по глазам — дитя слабое, по бороде — бодливый козел. Принц взял сюда с собой великолепные вещи для устройства старого дома, но вещи стоят в доме чужими и ненужными. В старом саду он проложил новые дорожки и к диким яблоням привил райские сорта. Но дорожки в саду, как новые вещи в старом доме, были чужими, райские сорта не привились на диких яблонях. На стенах Принц развесил дорогие ружья, но лучше всех из них оказалось все-таки старое длинное ружье Павлика, последнего в роду Верхне-Бродских. За убитую птицу в своих владениях Принц назначил штраф и везде поставил столбы с черными дощечками и охранительными надписями.

Охотники перевелись, но и птицы стало меньше...

Желтый, ржавый, почти черный источник бежал с холма, где жил Принц, и на пути ручья к Черному виру вырастали лопухи, чертополох и чортова теща. Тут водились самые старые лохматые черти, и ни один пастух не даст тут напиться скотине: вода мертвая.

«Человеку дана одежда, — размышлял Степан-Жолудь при наступлении холодов, — зверю дана шуба, овце — шерсть, птице — перья, а бездушной твари: змее, ящерице, медведке — ничего не дано».

Степан жалел бездушную тварь, и никогда не убивал ящериц, медведок, даже змей.

— Как же змею не убить, укусит, — спорил со Степаном-Жолудем другой Степан, по прозвищу Муравейник.

— А так, — отвечал Жолудь: — идет змея — обуйся. Идет — и бог с ней, пусть идет; не к нам ее бог благословил, она не виновата. Убьешь муху — десять мух укусят, а не трогай — всякий зверь будет мил.

Такой был Степан-Жолудь. И, зная его, никто не удивился в селе, что отрок Алексей пришел не к кому другому, а к Жолудю.

Поздней осенью, когда на землю уже легли белые кружева, а в воздухе перелетали белые мухи, к Жолудю в избу вошел не человек, не зверь, не рыба, а так — бог знает кто: у носа и рта напутано не разберешь что, как у медведки, а лоб высокий и глаза большие, черные отдельно от всего стоят, поясок на рубахе, будто у медведки переслежника.

Алексей отрок не сразу вошел в избу, а, притворив немного дверь, показал два свои большие черные глаза.

— Это не я, это два гостя пришли! — сказал он.

Приди змея в Степанову избу осенью, он и змею бы пустил, а бродячего мальчика Алексея принял к себе на печь с радостью.

С этого раза пошли у Степана счастливые осени: и птицы много стало, и рыбы.

Алексей приходит к Степану каждую зиму, и каждый раз сначала только приотворит дверь и покажет два черные глаза.

— Алешенька! — обрадуется Степан гостю.

— Это не я, это два гостя пришли! — говорит отрок Алексей и входит в избушку, и живет в ней всю зиму.

Чуть потеплеет, Алексей уходит на волю к ручью. Сидит он часто в своем дубу, не шелохнется; только

видно, что из дуба два глаза, как два гостя, глядят. Когда тихо сидишь в лесу, птица слетается и не боится.

Вот откуда-то перескочил на дуб дятел и, припав к стволу, долбит длинным клювом старое дерево. «Недобрая птица, — знает Алексей, — кому-то гроб впереди». Ворон вещий, пролетая, кувырнулся над дубом. «Быть беде!» — подумает Алексей. Белка, перескакивая с дерева на дерево, правя рыжим хвостом, летит к селу. «Быть пожару!» Вечером медведка-турлушка заведет свою печальную трель. Тихими зорями он с нею разговаривает и советуется. А в Черном виру, где живут самые старые косматые черти, начнут перебивать турлушку: бык водяной заревет.

— Замолчи, Бышка, — кротко скажет отрок Алексей, — ишь разревелся!

Тот помолчит. И Алексей опять с турлушкой советуется.

— Хвачу, я хвачу! — закричит кто-то в Черном виру.

— Перестань, Хватюшка! — просит опять Алексей.

И Хватюшка умолкает. И станет тихо в лесу. И при горькой песне турлушки звезды заблестят на листьях деревьев.

К чему эта горькая песня? «К росту, — знает Алексей: — в горе, в ночных тяжких снах растет трава, и цветы раскрываются».

Утром открыл Алексей глаза: краснозобый снегирь, птица радости, песню поет, и не узнаешь, что сталось за ночь с травой и цветами. Медуница-трава, вчера искал ее весь день, не нашел, а теперь она высокая, как казак в белой шапке, тут стоит возле дуба. Ты искал ее, а она за тобой ходила. Редкая трава, помогает от всех болезней. Желтые цветочки на низких зеленых ножках, лист круглый и всегда на нем рос-

ка держится — от сердца помогает. Гусиные лапки, три пальчика — одна сторона гладкая, другая волосатая — от волосу, когда палец распухнет. От порезу — заячья капуста на облогах стоит, ее заяц варит себе. Попы, белые, лысые, с отвислыми усами, бог знает, зачем стоят. Божьи слезки — хорошая, веселая, ну, прямо живая трава!

Ходит Алексей-отрок по лесу, собирает цветы и всякие травы, сушит, варит, прячет в дуб, — ждет старых и малых людей.

Добрый человек идет к дубу верной стопой, злой — обегает. Вокруг дуба позвоночки-говоруны без конца говорят и не дают подкрасться зверю. И Хлопушки хлопают, а грибы-пыхалки так пыхнут, что свету не видно.

Идут богомольцы по белой тропинке возле светлого ключа и рассказывают, что все озеро натекло из этой светлой воды. Или не знают они, что с другого холма подземными путями бежит другой поток? Или знают, да не говорят, чтобы молодые хоть смолоду порадовались синему озеру в золотых краях.

III

Этой осенью, когда настал час покинуть птицам страну льдов и незаходящего солнца, в белой половине Степановой избы дожидался гусиного лета Принц. С барином жил в избе Иван-Горшок, повар, и другой Иван, лакей, по прозвищу Пятак, — оба гусиные охотники с длинными ружьями.

Не первую уже осень дожидался тут Принц гусиного перелета, но убить ему не удавалось: гуси его облетели. Чего-чего только не перепробовал Принц: выроет яму возле озера на гусином пути, — они пройдут по той стороне; спрячется там в копну, — они будто узнают, и пройдут над прошлогодней ямой и

все сразу, одной великой гусиной ночью: только говор гусиный в ушах останется.

Нынешней осенью Принц взял с собой двух Иванов. Горшок сел в яму, Пятак — в копну, а сам Принц сделал себе пловучий шалаш, в нем поставил кровать, столик ночной со свечой и книгами, чтобы можно было плыть, лежать и читать. Так ровно две недели плыл по озеру Принц, читая книгу, прислушивался к гусиным зовам. И не раз вскакивал с кровати, через отверстие шалаша оглядывал небо. Но все было напрасно: гуси не шли. Через две недели кончилась провизия, и кстати, кровать прибило ветром как раз к Степановой избушке. Принц вышел на берег.

— Степан! — сказал он строго, — когда первые гуси покажутся, приди сказать.

И уехал на лодке к себе с обоими Иванами.

Осень шла и шла. Грачи давно улетели. Заблестела паутина в лесу. В ясном небе журавль затурукал. Морозы лежали от полдня до полдня. Уснула бездушная тварь, и пришел Алексей из леса в Степанову избу.

Днем Степан ходит с ружьем и смотрит на небо, не летят ли гуси; ночью чудятся ему крики птичьи, и он, сонный, вскакивает с лавки и идет на крыльцо. Вода чистая, тихая. Камыши не свистят. Босой, в одной рубашке, стоит на холоду охотник и чешется, будто скребницей лошадь дерут. Ни о чем не узнав, ни о чем не подумав, сонный возвращается Жолудь и спит под тулупом.

Раз утром, до солнца, когда несметной силой протурукал над озером журавль, отрок Алексей разбудил Степана, и оба вышли.

Месяц отсветил, и оборванный, белый единственным облачком был на чистом небе. На востоке горела заря; на западе клены стояли, будто заря.

Позариться вышли Степан с Алексеем, гусей послушать.

На лугу у костра грелись люди, — хотели накосить отавы, но косы не взяли мерзлое и ходили поверх травы. Косцы развели костер и грелись, дожидаясь восхода солнца, когда обогреет. Жолудь подошел к ним и сел у костра.

На северной стороне, где солнце никогда не бывает, сам светил теперь золотой Крутояр.

По белой тропинке шел один Алексей. В лесу засыпало тропу: по колено налетело листа, шумящего, пахучего. Тонкие ветви молодых деревьев подавали теперь проходящему свои последние листья — ладони со скрученными пальцами. В глубине просвета колебались золотые монеты. Кровавая трепетала осина, но береза белая, как обмерзла холодной зарей, так и осталась и, кажется, если бы тронуть ее, то зазвенели бы все ее листья золотыми колокольчиками. Тот могучий дуб был будто после пожара. Отсюда сверху было все будто после пожара: до самого синего озера горело жаркое золото, и пламень сверкал, и виднелись черные стволы и ветви, как опаленные здания.

Как радостно, как ясно и светло на душе, но это уж последняя, будто нездешняя последняя радость!

Потянул утренний ветер, затрепетала осина, зазвенела береза, жолудь упал...

Отрок Алексей обернулся. Никого нет в осеннем лесу...

Ветер сильнее прошел по верхушкам деревьев. Из далеких-далеких времен доносились в шуме деревьев звуки охотничьих рожков и лай гончих и топот копыт. Ветер прошумел, замолчали прежние времена, и вдруг такие победные, бодрые клики пронеслись над золотым Крутояром. В голубом просвете мелькнули серебряные шеи и темные крылья. Солнце всходило. Два передовые быстрые птичьи гонца остановились на мес-

те, пряли крыльями, поднимаясь все выше и выше над синим озером и золотым Крутояром.

Проня-сирота собирала орехи и вышла на площадку перед часовней, вся синяя: у ней большие глаза, как два синие гостя, синяя безрукавка не доходит до синей юбки и остается переслежинка, как у медведки. Проня, выйдя на площадку, сняла с головы синий платок и, завязав на нем узелок, махнула гусям:

— Гуси, гуси, помутитеся!

— Перестань, — строго сказал отрок Алексей, отпуская гусей:

— В путь-дорогу!

Гуси-гонцы сделали круг над озером и полетели к гусиному царю сказать, что синее озеро в золотых краях прекрасное.

Степан-Жолудь согрелся у костра, вздремнул и не слыхал, как ушли косцы, не видал, как вместо них подошли к огню озябшие вороны и, лежа на сизых зобах, грелись.

Жолудь открыл глаза, когда солнце взошло, и видит: два золотые гуся стоят над озером.

— Гусь пошел! — сказал он так, что воронье разлетелось в разные стороны.

Поскорее сел Степан в свою душегубку и поплыл к барину сказать, что гусь пошел, и весь этою ночью будет на озере.

У Степана весло и жердь; на чистых местах он гребет, в камышах упирается жердью. Возле Попова луга камыши стоят во весь человеческий рост. Степан обернулся и завязил жердь. Когда вытаскивал, вдруг в камышах зашумело. «Гуси!» — обмер Степан. Обернулся, а камышей уже нет и гусей нет, а на Поповом лугу, на своем месте сидит батюшка, удит рыбку и повертывает косичкой во все стороны.

— Гусь пошел, — сказал Степан.

Батюшка ничего не ответил, а молча, зачерпнув кружкой озерной воды, плеснул себе в карман подрясника.

«Червячков подмочить», — догадался Степан, зная, что батюшка всегда держит червей для ужения в кармане, и они у него там подсыхают.

Из другого кармана батюшка, тоже молча, вынул фляжку и выпил стаканчик.

— Червячка заморить, — сказал он весело Степану. — Видел, видел: славные давеча два гусака пролетели!

— Плыву я сейчас вдоль бережка, — рассказывал Степан, — хоть глаз у меня и зоркий, ничего не вижу. В камышах взял жердь, обернулся назад, завязил. Ка-ак они шунули!

У батюшки клюнуло. Степан затих.

И вдруг им обоим почудилось, будто их сверху кто-то обоих позвал. И оба посмотрели туда.

Теперь уже не было на небе того оборванного белого месяца, что утром, как единственное облачко, таял на небе. Над синим озерком было такое же синее чистое небо, и там, наверху, неслись три первые великие хоровода гусей.

Белый дедушка на горе перекрестился в ту сторону, куда гуси летели...

Не туда ли уходят и хорошие белые деды?

Поповский гусак, что дремал, стоя на одной ноге, поднял красный глаз к небу и вдруг встрепенулся. Сунулся в одну сторону, сунулся в другую и побежал, размахивая крыльями.

— Крылья не подрезаны, — сказал Степан, — как бы он так не улетел за дикими.

— Куда гусаку домашнему улететь! — ответил спокойно батюшка.

— За тридевять земель улетит. Гусь — не курица, птица умная,

— Благует...

— Каждому воли хочется, батюшка.

— Какая тут тебе воля; просто изблаговался гусак: намедни гусыня околела, вот он и благует.

И, вынув из воды удочки, батюшка поплелся в гору привязать гусака. А Степан пошел к барскому двору.

Возле балкона у Принца собралось много мужиков по какому-то делу. Барин спал; они дожидались. Степан пробрался с черного хода и крикнул в спальню:

— Гусь пошел!

— Врешь? — послышалось из спальни.

Степан перекрестился.

— Плыву я возле Попова луга вдоль бережка: весло в руке, жердь позади. Хоть глаз у меня и зеркий, ничего не вижу. В камышах, слышу, гуси; обернулся: как они шунули! И полетели, полетели. Гусак поповский чуть-чуть не ушел.

Не успел рассказать Степан, входит батюшка.

— Нашему брату попу, — сказал батюшка, — одним глазком на землю, другим на небо надо смотреть. Сижу я сейчас, рыбку ловлю; одним глазом на поплавок, другим — наверх гляжу. Одним глазом вижу: рыбка клюет, другим — как гуси летят. Шибко идут! Мой гусак чуть-чуть не улетел. Гусь пошел, самый настоящий гусь!

«Как быть с мужиками?» — думал в это время Принц, догадываясь, что мужики пришли по одному затяжному делу.

«Как быть с мужиками?» — перебирал в голове Принц: — «Удрать потихоньку на озеро черным ходом, или же крепко ругнуть, чтобы убирались все к чорту и не являлись, пока весь гусь не пройдет. Удрать или ругнуть?».

«Ругнуть!» — решил Принц, и открыл дверь балкона.

Впереди, с орденами на груди, стоял солдат-старшина.

— Тебе чего? — спросил барин.

— Доложить вашему благородию: нынче утром на заре гусь пошел!

За старшиной, заслоняя всю толпу красною бородой, стоял огромный Степан-Муравейник.

— А тебе что? — спросил довольный старшиною Принц.

— Гусь пошел! — сказал Муравейник: — на чаек с вашей милости.

— Гусь пошел! Гусь пошел! Гусь пошел! — загоготали все мужики.

— Пятак, — говорил вечером Степан-Жолудь, усаживая лакея Ивана в копну, — ты счастливый: место у тебя сухое и теплое — смотри, не усни!

— Горшок, — наставлял он второго Ивана: — не горячись, носа из ямы не высуни, в уток не пали, сиди в яме, как в печке, и жди.

— Каждому хочется гуся убить, — успокаивал Жолудь завистливого Принца, провожая пловучий шалаш, — каждый хочет покушать гусятинки. Тут божья воля, и нельзя вперед загадать, где гусь полетит, чье будет счастье... Не приведет бог, ничего не поделаешь, плавай по озеру хоть месяц, — весь гусь пройдет стороной. А даст бог, так и за шалаш зацепится, рукой хватай. Что рукой! В шалаш влетит, сядет, будет глядеть на тебя, только не скажет, — возьми меня, щипи меня, жарь меня, кушай: сладки, сладки мои гусиные лапки! Ну, с богом! — заключил Степан свою речь и оттолкнул принцев пловучий шалаш от берега.

Кружась, поплыл шалаш от Степановой избы в большое озеро, к Гусиному острову.

Радостный, сидел на кровати Принц с ружьем в руке, готовясь встретить великую гусиную ночь.

— Что может быть лучше охоты? — говорил он себе. — Ничего не может быть лучше охоты. И путешествия, — добавлял Принц, потому что шалаш медленно, но все-таки плыл.

В озере было течение к Гусиному острову. Когда-то здесь были леса, и Соловей-разбойник будто бы жил в них, но господа Верхне-Бродские запрудили речку, протекавшую этими лесами; стало озеро с голым островом, на котором отдыхают перелетные птицы; течение запруженной реки сохранилось и теперь немного, и вот почему медленно, цепляясь за камыши, кружась, но все-таки плыл шалаш к Гусиному острову. На помощь течению дул сильный ветер. Низкие сердитые тучи к вечеру затянули все небо, и одно только медное холодное кольцо виднелось внизу у самого горизонта. Две березки возле Степановой избы, пропадая во тьме, все еще пробовали умолить низкие темные тучи и стояли, как две матери с протянутыми к тучам руками. Белая половина Степановой избы долго виднелась, но, наконец, тьма закрыла и ее, и березки пропали, и медное кольцо сползло. Вот тогда-то в этих тучах, перекликаясь, как в море невидимые друг другу корабли, издали слышные, близясь и близясь к озеру, наконец-то полетели и гуси.

Так бывает в безлюдном краю, в степи-пустыне, где лежат чугунные рельсы. Далеко до прихода поезда загудят рельсы, и потом покажется огонь и свистки и сам поезд, бегущий из далекой и, кажется, прекрасной страны. И вот, как темною ночью в пустынной стране, когда загудят рельсы и послышатся первые свистки, так и на озере осенью при первых сигналах гусиных кораблей.

Приближаются хороводы птиц. Все гусиное царство

летит, окружает все озеро, веют незримые крылья, начинается великий совет.

Принц все это слышал в своем шалаше: как гуси вверху совещались, как спускались, всплескивая водой, стая за стаей возле Гусиного острова и как бормотали, почесывались и, наконец, уснули. Потом их что-то встревожило, в гусином крике слышался какой-то суд, какой-то совет...

На берегу свадьбу играли, доносились хороводные песни, собачий лай, неустанно кричал привязанный поповский гусак. Но Принц слышал только гомон Гусиного острова и медленно плыл туда, готовя опустошающие выстрелы...

А гуси спали, утомленные великим перелетом.

Напрасно думал Принц, что гуси спустились прямо на Гусином острове. Они упали на воду и, утомленные, сразу уснули. Течение медленно прибивало их к пологому острову и, когда гусиные лапки коснулись песка, не подавая друг другу голоса, они вышли на берег, подогнули по одной лапке и спрятали головы в крыльях. Гусиный царь долго не спал. Гусыня оправляла ему перышки и что-то искала, как ищут добрые жены, положив себе на колени головы мужей. Усыпив мужа, гусыня-государыня и сама стала засыпать. И вот случилось неслыханное в гусином царстве, где все живут вечными парами. Один холостой непутевый гусак подобрался к гусыне и, пользуясь сном царя, стал отвешивать гусиные поклоны...

Когда лисица подкрадывается к спящим, или орел налетает, или человек с ружьем подползает, в последнюю минуту гусиный царь говорит страшное слово «Кев!» «Кого?» — отвечают сразу все гуси с таким великим криком, что не только лисица и орел, а и человел прячется: гуси выклюют глаза, выщиплют волосы.

— Кев! — крикнул гусиный царь

— Кого? — ответили гуси.

Скоро ощипанный непутевый гусак лежал на спине, зобом вверх и часто-часто дрыгал лапками. Гусиный царь велел спать.

В это время и наступила та тишина, в которой Принцу везде слышался гомон Гусиного острова, а когда шалаш повернулся в другую сторону, то Принц совсем закружился.

Небо расчистилось, кое-где наклюнулись звезды, стал месяц оглядываться, показалась темная полоса леса на той стороне озера и была такою близкою, что Принц счел ее за берег Гусиного острова. Стоя в двух шагах от гусей, Принц нацелился в половину полоски далекого леса, версты за две...

Сколько звезд было на небе! Хоровод на берегу пел какую-то песню о зузуле горемычной. Но Принц ничего не слышал, а только видел перед собой темную полоску.

Он сразу спустил два курка. И услыхал он первое гусиное слово: «Кев!» «Ко-го?» — ответный крик всех стай он не слыхал.

IV

Все свадьбы в селе над озером Крутоярым начинались с Макарихиной лесенки: бывало, сядут на эту лесенку ночью и сговариваются, а Макариха не спит и смотрит через стеклянную дверь, как бы не ушли куда с лесенки суженые. Так смотрела она и на Принца, когда он пришел посидеть с ее дочкою. И тут попутал ее грех: уснула Макариха и опростоволосилась. Утром все звали ее дочку Принцессою. Мясник, богач и скряга, что питался одной печонкой да селезенкой, и за это прозванный Иродом, один ничего об этом не знал и вдруг посватался. Так пришлось выдать Макарихе любимую дочку за Ирода, старого вдовца.

Свадьбу играли в трактире, но и тут нехватило места для всех, — пришлось выбрать кого почище. Из

берых незваные вломились: Звонуха, Рассыпуха, Зелениха, Кобылиха, Жигжик, Далдон и Степан-Муравейник. Свадьба вышла веселая. Дьячков племянник, певчий из города, подпевал себе басом, играя на гармоньи, вскидывал гривой и ужасными красными, налитыми глазами смотрел на девиц. Писарь с Кобылихой, круглые, как два мяча, плясали гусака: он — будто гусиный царь, она — гусиная царица; за ними тянулись все трезвые и пьяные, и в самом конце, будто солнце жаркое, горел краснобородый Степан-Муравейник. Топнет писарь — половицы ходуном заходят; дыхнет — свечи тухнут; мотнет рукой, заводя хвост — и посыплются пьяные, как орехи, а трезвые, глядя на них, посмеются, выпьют и снова начнут гусака. Любопытные с улицы на деревья залезли, березку обломили, стали потолок разбирать.

Проня-синильщица, сирота, не посмела проситься у Макарихи на свадьбу, хоть и жила у ней в доме с малолетства, как утонул ее отец, рыбак, в озере. Как ей показаться на людях: вся синяя, руки ничем не отмыть, одежда вся синяя, самотканная, не нынешняя. Хотела Проня подойти к окну, — стена от народа вся черная, ни додору, ни продору туда.

На выгоне, на просторном месте, где стоял трактир и где водят девушки хоровод, Проня села на белый камень под качелями, потупила в землю свои большие, синие глаза и стала тихо причитывать:

«Не плачет земля сухая, холодная: в непоказный час родилась сирота. На семь долгих лет выслал батюшка свою родную дочь, велел выходить за морянина. Кукущицей обернулась. Прилетела в батюшкин зеленый сад и стала горько-горько причитывать...»

— Откуда ты, зузулюшка, такие горькие причеты берешь? — запел чей-то другой девичий голос.

И руки сошлись.

Никто не загадывал и не задумывал, так сам собой поплыл хоровод.

Вела хоровод Проня. Широк казался ей выгон, велик хоровод. И чем дальше она шла и пела, тем все шире и шире казался ей круг. До самого края дошла, где, кажется, небо с землей сходится и где белобородый дедушка в золотой парчевой ризе, осыпанный частыми звездами, на землю слезает.

Никто не запомнил в селе такого хоровода, что вела в эту ночь Проня. И недаром ей чудилось, будто там, где небо с землей сходится, и бог спускается к людям, блестела золотая риза: тучи расходились, месяц огляделся чистый, обирая с себя клочки туч.

И всю ночь бы ходить хороводу по выгону, но вот девушки ахнули, и руки у них разошлись от страха и песня смолкла...

Земля дрогнула. Лесистый холм перекликнулся с другим холмом и дальше от холма к холму побежал грохот в дремучий лес, где еще никто никогда не бывал. Страшен был грохот от выстрела, но еще страшнее был потом птичий крик на Гусином острове! Месяц теперь совсем огляделся, небо все открылось, загорелся Птичий путь. На ясном небе видели девушки, как выше и выше поднимались птицы, и где-то совсем высоко, под звездами, они сговаривались, советовались и уплывали корабль за кораблем куда-то по Птичьему пути.

— Это не так, — сказали в хороводе, — это они барина заклевали.

— И потопили, — ответили другие.

— Мертвый, — моет водица теперь его грешные косточки! — начала причитывать старушка.

— Уж на что грешнее его, — пробасил кто-то во тьме, — туда ему и дорога!

Не успели вымолвить эти слова, как вдруг и сам покойник, мертвец весь в белом, показался на вы-

гоне. Все и рассыпались в стороны, как птицы от ястреба.

Но не покойник бежал по выгону к девушкам, а батюшкин белый гусак отвязался и летел низко, перекликаясь с дикими. За гусаком гнался и батюшка, но его в темноте никто не видал. Только уж когда гусь сравнялся с трактиром и стал вверх забирать, увидели, что за белым гусем и батюшка летел, размахивая широкими рукавами подрясника, будто крыльями.

За батюшкой из трактира все бросились ловить гусака: и старшина в орденах, и писарь с Кобылихой, Звонуха, Рассыпуха, Жигжик, Далдон, Степан-Муравейник и сам Ирод с Принцессою. Вся свадьба убежала, за свадьбой весь хоровод, все село опустело, и остались только старые да малые.

Но где же ночью найти гусака? Да и страшен лес за селом! Скоро с разных сторон все стали сходиться и спрашивать:

— Нашелся гусак?

— Улетел.

— Гусак улетел, а батюшка?

— И батюшка...

Тем в эту гусиную ночь и закончилась свадьба. Дружко увел молодых в амбар, запер на ключ. Трезвые разошлись, пьяные расползлись. Сказать никто не смел, а многие благочестивые люди крепко держали в уме насчет батюшки.

Когда в селе перестали галдеть, в лесу у Глинища, в Черном виру выползла сальная язва на низких лапах и пошла напиться к озеру, шелестя листвой. Медведь идет тихо на цыпочках, ни один сучок не треснет. Волк тоже тихо ходит. Но всех тише идет лисица из леса к селу чистить курятники. В эту шумную гусиную ночь ей долго пришлось дожидаться, пока все не уснули и не остался только один огонек в доме ма-

тушки, где самые вкусные куры. Туда на огонек и пошла тихим ходом лисица.

Матушка ничего не слыхала: у ней в гостях был странник, ученый человек, собиравший на церковь, что в Белых Водах, за тридевять земель в тридевятом царстве.

— Мысли гони, — наставлял матушку странник, ученый человек, — первым делом мысли гони, а там все само собою приложится. Может, и всем-то нам жить осталось без году неделю: вот и берет к себе господь хороших людей. А гусак оттуда вернется и не один, а приведет с собой целое стадо. Там он не останется. Там остаются только уж те, кому назначено. Там птичье кладбище, а твой гусак молодой. Это бывает!

Божественные, темные глаза были у странника. Спокойные огоньки лампад отражались в них и становились подвижными красными жгутиками.

— Церковь нам сам бог послал на Белых Водах, — говорил странник, ученый человек, — никто не строил, сама стала, как божия невеста. Было место пустое и дикое до меня. Я посетил в троицу. Прихожу, вижу: пар валит из земли. «Жертва, жертва нужна!» говорю я православным людям. Они принесли мне ветчинки три окорока. Пар сильней повалил от земли. «Жертвуйте — кричу я, — Аврааму был надобен агнец!» Они принесли мне баранинки. Теперь, — говорю я им, — троица, теперь господь в трех лицах по земле ходит, а кто видел? И не увидите! А увидите — испугаетесь. Адам, первый человек, мог глядеть в лицо господу. Вы же увидите и не узнаете. Жертвуйте!» Они принесли мне винца. Я пью и пляшу, пью и пляшу. Теперь же на том месте, где я плясал, в Белых Водах, церковь стоит белая, как христова невеста.

— Это бывает! — сказала матушка, — а вот что

скажи, отец родной, как бы ты мне от ломоты помог: ноги не ходят.

— Что тебе не жалко?

— Холстинки.

— Ну, возьми холстинки, приложи, где ломит, а я отнесу на Белые Воды, покрою холстинкой угодника, и ломота твоя, худоба так и свалится.

Обматывает матушка больную ногу холстинкой и молится на образницу четырем праздникам: Покрову, Всех скорбящих радостей, Ахтырской и Знаменью.

— А в другой ломит? — спрашивает матушку странник, ученый человек, — ломит? Другую обмотай. Тут пропустила! Зачем пропускать? Грех! Тут пусто... Холстинка вся? Наставь! Вот так! А мысли брось. Хороших людей бог живыми берет на небо: Енох был взят, Илья... В последние дни останутся только те, кому гореть назначено. Достоин батюшка — долетит, недостоин — завтра придет. Мысли брось!

Ночевать не остался странник, ученый человек, прямо ночью пошел на Белые Воды. Придет он туда в сороковой день, и в этот день пройдет ломота у матушки.

Лисичка выбралась тоже из курятника матушки сытая и поплелась в свою темную нору у Глинища. Невидимый изливался в озеро темный поток из Черного вира, но озеро стояло светлое, каждая звезда, отражаясь в нем, становилась золотым шпилем церкви. Сколько звезд, столько и церквей было в озере. А месяц так и остался месяцем, и вокруг него было три зари: заря утренняя, заря вечерняя и заря полунощная.

Последние пролетали птицы над озером: то просвистит малая, быстрая, как пуля, то прозвенит, как стре-

ла, то большая, невидимая, слышно, скрипит в тишине маховым пером.

— Вчера ласточки были, нынче нет, — сказал отрок Алексей, — весной прилетят опять, а не все, — там останутся, там Птичье кладбище...

Проня о своем думала и сказала Алексею:

— Замуж я не пойду. Черничка обмирала, поднялась и все мне передала. Страшно замуж выходить, страшен ответ. Кто болтал — за язык подвешен, кто подслушивал — огонь из ушей. Горячие сковороды ногами топчут. В смоле кипят. Замуж я не пойду, я в монастыре постригусь.

— А не страшно отречься от мира? — спросил Алексей.

Проня посмотрела на озеро. Хорошо оно было теперь, все засыпанное звездами. И месяц там был, и вокруг него, как невесты, все три зари: заря утренняя, заря вечерняя и заря полунощная.

— Для вековух, рябых, глухих, слепых, разноглазых и кривых, и горбатых, для нас, сирот, и для всех проклятых и в непоказный час рожденных младенцев есть ли счастье на свете, Алешенька?

— Что счастье, — сказал отрок Алексей, — счастье возьмешь, да с тем и уйдешь. Ты бери, что побольше этого счастья.

— А без счастья какая же радость?

— Вот что я тебе расскажу. Сижу я ночью в дубу у святого колодца. Медведка-турлушка песню запела. Сижу я в дубу и разговариваю с турлушкой, советуюсь. Люблю я турлушку: у ней святая песня, хорошо мне с ней... А Хватюшка, что в Черном виру живет, перебивает меня: «Хвачу, хвачу!» кричит. Эта Хватюшка в роде счастья твоего: хватается. «Замолчи, Хватюшка! — прошу я ее ласково, — перестань!» Она меня не слушает, все кричит и вовсе забила турлушку. Прошу я ее второй раз. Нет! Тут взял было с

досады камень, замахнулся, да и остановился. «Прости меня, — говорю, — Хватюшка!» Она и замолчала, а турлушка, радость моя, запела. И стало мне на душе так светло, так радостно, что и лютейший из зверей, крокодил, приползи ко мне и раскрой свою пасть и будь у меня тут подсолнухи, так я и ему сказала бы радостно: «Погрызи, крокодиле, подсолнушка!» И стало в лесу светло, на полянке березы стоят золотые:

— Алешенька, милый человек, — воскликнула Проня, — я пойду за тобой, научи, как и куда итти!

— Куда итти? Куда пойдем? — задумался отрок Алексей.

Последние птицы пролетали над озером: малые свистели, как пули, другие звенели, как стрелы, большие тяжело летели, скрипя в тишине маховым пером.

— Куда пойдем, спрашиваешь? — улыбнулся отрок Алексей. — Мы пойдем с тобой на Птичье кладбище.

V

Блестят при месяце, как рельсы, накатанные осенние колеи большой дороги. По бокам у поля сидят бабушки-лозинки без веток и сучьев, как какие-то черные, старые, лысые култышки; сидят, смотрят на дорогу и будто чего-то дожидаются. В эту ночь конокрад, черный цыган, удирал от погони на вороном коне, спешил, менял, с кем встретится, своего измученного коня на свежего. Под самое утро, когда звезды скрываются и вдруг становится совсем темно, цыган куда-то пропал, а когда грянули последние петухи, опять показался с востока на белом коне и все близился и близился с большой дороги к селу. Но это уж был не цыган: это большое белое стадо гусей прасолы гнали в город, скупая в селах все новых и новых. За гусями и за прасолами шли, опираясь на длинные

ветви, два белых старца. Когда повиднело, старцы заметили под старой лозинкой: бабушка сидит и разливается горючими слезами.

— Ты чего плачешь, старуха? — спросили старцы.

— Как же мне не плакать, батюшки, — ответила старая, — на гусей смотрю, жалко: не видать уж им своей родины.

Улыбнулись старцы и, белые, опираясь на ветви, за белыми гусями вошли в село.

Галки проснулись первые и, собравшись в огромную стаю, криком будили спящих под соломенными крышами людей. В опустелом гнезде проснулся ястреб-старик и с распластанными крыльями, как важный барин в карете, поехал над озером в поле.

Белая половина Степановой избы показалась у берега озера; из темной, еще не видной, вышел Степан-Жолудь.

Вставай, Пятак, вставай, дрыхлый! — будил Жолудь спящего в копне Ивана. — Вылезай, Горшок, вылезай, лежепар! — будил он другого Ивана: — посмотри на барина, полюбуйся!

Долго чесались Иваны, долго протирали заспанные глаза и, когда, наконец, глянули и разобрали все — обмерли.

На берегу Гусиного острова спал Принц, а возле него голым зобом вверх, все шевеля чуть-чуть лапками, лежал непутевый гусак.

Утро как взялось за дело, так уж, не отступая от своего, и стало все оказывать. Восходящее солнце из всей толпы у амбара выбрало красное лицо и рыжую пламенную бороду Степана-Муравейника. На ухвате, высоко над толпой, он держал что-то белое и, повертывая во все стороны, хохотал. Дружко ругался. Звонуха с Рассыпухой крепко держали за руки тещу, продевая ее в хомут. Зелениха и Кобылиха в солдатских шапках, уже пьяные, плясали гусака. А бабушка

Секлетинья, выпуская весь дым из своей черной избушки, запекала блины; бабушка лучше всех знала деревенские порядки и пекла в тот раз блины с дырочками...

Все лазейки, все норки, все трещинки оказывало восходящее солнце. Приплелся откуда-то, хромая на обе ноги, батюшка, узнал своего гусака и отбил его у прасолов.

А на северной стороне, где солнце никогда не бывает, вставала другая заря. Как в парчевую ризу одетый, сам от себя светил золотой Крутояр.

БАБЬЯ ЛУЖА

I

Когда-то в богатом приходе жил о. Петр, и так хорошо ему было, что завидовали даже городские священники. Стало ему трудно одному в большом приходе, и выхлопотал он в помощь себе второго батюшку. Сюверный попишко был этот о. Иван, шлящий человек, шаромыжник, — всю жизнь из одного прихода в другой перебегал. Довел он о. Петра до греха: прямо из алтаря через царские двери нехорошим словом пульнулся. За это слово о. Петр, лучший священник в краю, попал к нам в Опенки. Чуть не весь приход провожал Петра. Одни плакали, тужили. «Сам виноват, — говорили другие, — зачем он второго попа доставал: два попа в одном приходе — два кота в мешке».

Кто не бывал попом, тот не поймет, что значит попасть из богатого прихода в бедный, и какие глухие, бедные бывают приходы у нас. В Опенках церковь — завалюшка деревянная, и та на оползне стоит у самого озера, а внутри церкви запустение: паникадила под-

нимаются на деревянных колесиках от прялки, на дверях бутылки с песком и кирпичи, как в кабаке визжат. Прихожане в Опенках — залешане-медвежатники, и не поп, а колдун им нужен был. Оглянулся вокруг себя о. Петр, не выдержал и запил горькую. Бывало, упрекал Ивана-попа за кумовство с мужиками, а теперь сам до того дошел, что только по волосам узнавали, кто поп, кто мужик, и звать его стали уж не Петр Ферапонтович, а Понт Перепонтович и жену его Перепонтовной.

Матушка Перепонтовна не потерялась в глухом приходе; просветлила запущенный сад, огород устроила и великое множество птиц развела: гусей, уток, кур и каких-то особенных рыжих индюшек. От этих индюшек развелись у всех крестьян рыжие индюшки, и село стало ими славиться.

— У вас тут раек, — говорили матушки соседних приходов, — какие полные индюшки, да увесные.

— Все от меня развелись, — радовалась Перепонтовна.

— Рай, чистый рай, — хвалили матушки.

Плохо было в раю только о. Петру: пил, опускался все ниже, ниже, и вот уже стали говорить попы, что *до низкости* опустился священник.

Сам о. Петр и рад бы теперь был подняться, да уж не хозяин стал себе. Чего только он ни делал: обещался и записывался в трезвость, и даже к гипнотизеру в уездный город ездил — ничего не помогало. И вовсе бы пропадать, но кто-то научил его самому простому средству.

— Выпей ты, о. Петр, в смутный день один только графин вина и, как выпьешь, веселыми ногами ступай в лес, собирай ты грибы до упаду, и все как рукой снимет.

Испробовал это средство о. Петр, и вдруг ему лучше стало, и словно пробудился. Снял он прялочные

шпульки с паникадил, отвязал бутылки с песком, помолодил старые иконы. Грибы спасли о. Петра, и к этому своему грибному делу он так пристрастился, что, бывало, даже обидится, когда солидные попы назовут его любителем грибов и природы.

— Не любитель, так кто ж такой?

— Я сам гриб, — отвечал он.

— Боровик? — смеялись ему.

— Да, боровик, а вы все благушки.

Грибы спасли о. Петра. И стал он обыкновенным деревенским хорошим попом. От прежнего у него остались только редкие смутные дни, когда, выпив графин вина, он на целые сутки уходил в лес за грибами. Эту смуту свою о. Петр в шутку называл маленькой нирваною.

Однажды около Петрова дня, когда показываются первые грибы-подколосники, под вечер сел к окошку о. Петр и замутился духом. Туманы поднимались на сыром лугу, словно лесовые бабы-хозяйки белые холсты расстилали.

А ночь была светлая, летняя. Перепонтовна без огня пришивала пуговицы к его лесным шароварам. Старая записная книжка попалась о. Петру под руку, и стал он ее рассеянно перелистывать. Были тут записаны семинарские рассуждения о боге и рассказ мужика о сотворении мира и мелкие расчеты и, на конце, был небольшой стишок собственного сочинения:

Светит месяц, не зарница.
Хочет Петенька жениться
На Марусе.

Прочитав стишок, о. Петр задумался и стал вспоминать Марусю, какая она из себя. Но так давно это было, что одна только рука вспомнилась, белая, с тонкими музыкальными пальцами. Радостно было видеть эту знакомую прекрасную руку и до того сладко, что,

когда проплыла она, о. Петр нарочно зажмурился, думал, так еще лучше покажется. Но ничего не показывалось закрытым глазам, а в открытых тонули в тумане последние верхушки деревьев.

Хотел еще в записной книжке поискать что-нибудь хорошее старое, и нашел он страничку, мелко разлинованную, со множеством женских имен. Между ними отыскал он имя своей жены, матушки Перепонтовны: против этого имени было написано: «Тысяча рублей или сорок десятин».

На этом месте о. Петр закрыл свою книжку, выпил рюмочку и опять сел к окну.

В селе уже спали; лес, луг и река закрылись туманом; смотреть было некуда, слушать нечего. Одна только странная темная точка, как пьяная, шевелилась в тумане: она бывает знакома всем, кто в одиночестве сиживал так. О. Петр и подумал сначала, что своя эта точка. Но точка все росла, росла, и мало-по-малу уши показались, голова, ноги и, никогда невиданный в селе, вышел из тумана бурый песик. Хвост у него был перебит и свернут к боку, а бок был ошпаренный, один глаз выбитый, и по всему видно, безымянный песик, живет без хозяина, где-нибудь в бурьяне, и до того забит, что только ночью выходит кормиться.

О. Петр, глядя на бурого пса, выпил еще, и захотелось ему с ним поговорить.

— Жучка! — позвал он.

Песик поднял голову, посмотрел, кто зовет, и зарычал. До того был обижен песик, что на человека и смотреть не мог.

Стал о. Петр отгадывать, как зовут его. Выпьет и позовет обиженную собачку новым именем.

— Арапка!

Песик рычит.

— А кто же ты, Шарик?

— Кого это вы там дразните, Петр Ферапонтович? — спросила Перапонтовна.

И посмотрела на улицу. Были послушны всякие звери и птицы Перепонтовне: скажет слово чужой корове, и она, как своя, идет, кошке—кошка бежит, воробью—воробей летит...

— Бурик! — назвала она бурого пса.

Сморщив нос улыбаясь по-собачьему, осторожно стал подходить обиженный пес к поповскому дому. Ступит и остановится. Перепонтовна бросит кусочек, позовет, и он снова идет. И так подошел к окну, съел кусочек и хотел даже еще попросить, но хвост перебитый не мог вильнуть, и только глаз — уголь жутко горел, а другой, выбитый, сливался с туманом, и еще два желто-бурых пятна смотрели, как два особенные глаза.

О. Петр не мог долго смотреть на пса, отвернулся в комнату и, выпивая рюмку за рюмкой, глядел все на самовар. Вдруг самовар дрогнул от пристального взгляда и стал удаляться, а стены стали сходиться. И вот уж самовар далеко, бог знает где, на сером, как жолудь, висит, а серая стена близко-близко, и на ней рука знакомая, белая, с длинными музыкальными пальцами, плывет и словно манит его за собой куда-то к окну и дальше, дальше...

А за окном уж волновались позолоченные восходящим солнцем туманы, и кукушка была слышна в лесу. О. Петр взял корзинку, подманил Бурика и пошел с ним в Красаки, где водится много белых грибов.

II

На зеленой осоке, как острова, стоят Красаки, покрытые высокими соснами. Один холм выше всех, и на нем дуб заметный, видный, как церковь на десять верст. К этому дубу и шел о. Петр; за ним в отдале-

нии, шевеля осокой, плелся и Бурик. Недалеко возле дуба есть вырубка и на ней монастырская избушка. Раз в год сюда приезжают монахи грибы собирать, живут целый месяц и на целый месяц размонашиваются. Пни стоят возле избушки черные, как монахи, и между ними свой игумен есть, тоже черный, но плотный и весь обложенный мохом, как зелеными плюшевыми подушками. На игумене-пне почему-то всегда благушки растут, а вокруг пней по опушке под деревьями белые грибы. Сколько их тут бывало в прежнее время! Возами монахи возили, сушили, варили, солили, продавали, и все-таки оставалось после них в Красаках столько грибов, что весь окрестный народ запасался. Нынче отчего-то перевелись грибы в Красаках, и за счастье считал о. Петр, если, проходив с раннего утра и до позднего вечера, принесет десяток грибов. Теперь было время, когда только-что показываются первые грибы-подколосники, — мало было надежды найти и десяток; посмотреть только, увериться, что, правда, показываются белые грибы, и за это одно дорого бы дал охотник за грибами о. Петр. Но солнце уже высоко поднялось, все знакомые места были осмотрены — нигде не было грибов-подколосников. Бурик, как только в лес вошел, так и пропал, словно он тут и жил всегда, и затем только в село приходил, чтобы сманить в лес батюшку. Умореный, сел о. Петр на игумен-пень и задумался...

Вдруг собачка залаяла, и глухо раздался лай, словно тысячи лесовых собак жили тут и перекликались одна с другой.

— Кого это Бурик облаял? — подумал о. Петр, — должно быть, зайца поднял

И стал смотреть, не выскочит ли на поляну заяц из лесу. Но заяц не выбегал, лай был на одном месте, спокойный, ровный, упорный.

— Лось стоит, — догадался о. Петр,

Посмотреть, как стоит рогатый в лесу, очень захотелось батюшке. Лай был под тем самым огромным дубом, что на самом высоком холме стоит, старый дуб и такой широкий, что хоть на целую деревню под ним столы станови, и вокруг дуба сосны прямые, как свечи, стоят. Выглянул из-за сосен о. Петр: Бурик одноглазый стоит, лает, а лося нет, и лает пес даже не наверх — на белку, на тетерку или глухаря, а вниз, и так горячо, что пар валом валит изо рта, и глаз, как уголь, горит. Посмотрел батюшка по собачьему глазу, и вот огромный гриб-боровик перед самым носом Бурика, как лампа, стоит. Глазам не поверил о. Петр,— от роду никогда не слыхал, чтобы пес мог грибы искать. И только когда уж ощупал теплую ножку и шляпку холодную, мокрую, как собачий нос, затрясся от радости. Вынул ножик, срезал гриб: белый, чистый, ни одной червоточинки и такой большой, что одного на жаркое хватит.

А Бурик все на том же месте стоит и лает, словно его не срезанный гриб привлекал, а что-то другое.

— Ну, конечно, другое, не гриб... я-то чудак: подумал, пес может грибы искать, — сказал сам себе батюшка.

И посмотрел опять по глазу Бурика на землю, а на земле еще лезет гриб.

Срезал другой гриб, а Бурик лает попрежнему: куда ни посмотрит собака, всюду из земли лезет гриб.

Чудеса! Но до того уж привыкли к лесным чудесам эти грибные охотники, что не чуду удивляются, а самому грибу. Так и впился в эти грибы о. Петр, засучил рукава подрясника, ползает под дубом на четвереньках, режет и складывает, а Бурик все лает и лает. И так полную корзину верхом нарезал грибов под одним только дубом на первом холму. А Красаки место большое: перейти низину, будет новый холм,

а там еще, а там уж сплошь пойдет строевой лес — далеко в другую губернию.

Куда же деть эту корзину грибов, куда складывать новые грибы? О. Петр выбрал ложбинку между корнями, ссыпал грибы, затрусил травой и спустился в речные сутоки, где растет высокая, выше пояса, осока. Вся посеребренная стояла на солнце трава, как зеленая пряжа, словно это болотные молодки составили кросна с своей суровою пряжей, а сами спрятались в болотных буковицах и колчеватике.

Оглянулся посмотреть, заметно ли то место, где ссыпал грибы. Головой выше сосен дуб стоял, а на нем большой лесной голубь сидел, смотрел, провожал глазами батюшку к другому холму-красаку. Обернулся к другому холму впереди, а там уж Бурик опять горячо лает. И не выдержал о. Петр; подобрав подрясник, пустился бежать по болоту на лай. Бежит, шлепает, брызги летят во все стороны, а за ним-то болотные молодухи шипят и свистят, и ругаются, что рвет он ногами их суровую серебристую зеленую пряжу.

III

Бабы-боровницы отчего так часто блуждают в лесу? Идет боровница в лес и замечает дом по плечу. Бабье дело робкое: косится она в лесу на густые кусты, а дума все о плече, как бы не сбиться, как бы не забыть, что дом остался в левом плече. Идет боровница, думает, от думы плечо начинает чесаться, и выходит так, что где чешется, там и дом стоит. Вот, когда забралась боровница в лесную чащу, перекружилась вокруг себя, а время к вечеру и нужно домой поспевать, — идет она прямо, прямо в ту сторону, где чешется. Леший под вечер тут как тут: рад-радешенек бывает, когда у бабы зачешется. Она хочет прямо итти, а он ее кружит и с толку сбивает. Ведет он бабу кругами-

навилонами, и когда до упаду изморит, иссушит, покажет ей дивную полянку, всю покрытую большими белыми цветами-кувшинками. Идет баба на кувшинки, а под цветами-то окнища бездонные. Ступила раз, ступила два — запела трясина, заходила, заурчала, как огромный мягкий живот... Страшное место, и зовется *Бабья лужа*.

На боровом высоком месте вблизи этой Бабьей лужи напал о. Петр на грибы, и до того их тут много было, что пока резал, время незаметно подошло к вечеру. Спохватился, оглянулся: совсем незнакомое место было вокруг; неизвестно, откуда пришел, в какой стороне Красаки, где речка — ничего не понять: с грибами сто раз перекружился в лесу. Остановился, спохватился, да уж поздно! И не такой человек был о. Петр, чтобы во-время останавливаться, считать, рассчитывать и среди зеленого леса думать о зимнем великом посте.

Да и всякий, кто собирал грибы, знает, как трудно во-время останавливаться: только что хочешь остановиться, вдруг под деревом гриб стоит; срезал, кинул глаз, а впереди другой, а там третий манит.

А еще бывает и так: стегнет в лицо веткой лесной смородины, и вдруг вспомнится та смородина, садовая, как тогда ею запахло. А когда это было и где — не скоро поймешь, и кажется, вот итти бы вперед, все вспомнится где-то в глубине лесной.

Вспомнилось о. Петру:

Светит месяц, не зарница,
Хочет Петенька жениться
На Марусе...

Остановился удивленный; подумал, березки! да это же те самые березки, был возле них и опять к ним пришел; вот ель между ними чуть-чуть шевелит почему-то нижними лапами, и ель эту видел. Куда же итти?

Прислушался: ясно звенят колокольчики. Слава богу: стало быть, где-нибудь вблизи деревенское стадо. И пошел прямо на звон колокольчиков.

Это было не деревенское стадо. Это прасолы гнали гурт лесною дорогой, огромный, чуть не в тысячу голов. К вечеру прасолы остановились на большой полянке, привязали одну серую *корову-сбродницу* на колышек, распустили гурт по поляне, а сами сидят у огня и кашу варят.

Ходит серая корова-сбродница вокруг колышка и по-своему, по-коровьи, думает. Дума коровья в лесу одинакова издревле: не покажется ли волк из лесу. Дума у коров общая: что одной подумается, то и всем представится; вот почему одну беспокойную корову привязали на колышек, и ходит она вокруг него, как часовой. И вот почудилось ей, что вышел из леса кто-то двуногий, длинноволосый, и возле него серый на четырех лапах. Остановилась корова, вгляделась и пошла вперед. Веревка оттянула, но корова тут же приладилась: пошла, куда можно, скоро опять увидела низенького на четырех ногах, и показалось ей, что низенький волк все ближе и ближе. И так пошла серая корова по кругу, представляя себе, что прямо, все прямо на волка идет.

О. Петр шел с Буриком на серую корову, видел, как она остановилась, вгляделась и с вытаращенными глазами пошла вокруг колышка. И такой он с грибами стал лесной человек, что понимал коровью тяжкую мысль. Эта мысль была у коровы заложена еще в те времена, когда собака не отделялась от волка, а волк и собака были одно. Эта мысль была не одной серой коровы, а общая, и потому она не боялась теперь на волка итти, что с нею все коровы шли, вся покойная родня ее — отцы, матушки, дедушки, бабушки...

— А по правде-то идет она одна вокруг колышка,— подумал о. Петр.

И как раз в это время остановилась серая корова и замычала. Весь гурт поднял рогатые головы. Перемычались, перебрыкались, перечесались коровы за длинную дорогу, и стал весь гурт, как одна корова; что подумала одна серая, то и все подумали: волк вышел из леса. Серая сбродница еще раз замычала, все посмотрели еще, уверились, и все тысячи голов, как одна, кинулись волка бодать.

Пустился о. Петр бежать назад к лесу, а под ногами кочки — лохматые дураки, вот-вот ногу вывернешь, по этим дуракам прыгал батюшка через два, через три, как заяц, и только-только успел скрыться в лесную чащу — гурт возле самого него по частым кустам рассыпался. Со всех сторон трещало, ломало, ревело, показывалось, — там хвост метнулся, там нога мелькнула, там рогатая голова с налитыми кровью глазами.

И вдруг, как это бывает в беспокойных сновидениях, обернулось так о. Петру, что не коровы гнались за ним по лесу, а попы, тысячи рогатых попов...

Сзади наступают рогатые, а впереди виднеется лесное окошечко. Бросился туда на светлянку, и — вот она, пропасть бездонная, Бабья лужа, вся покрытая белыми цветами кувшинками...

Все равно пропадать!

Увидал о. Петр кусок сухой сосны, сел на него верхом и, как мальчишка с высокой горы, полетел в Бабью лужу.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Горький — Вступительная статья 5
Н. Замошкин — Писатель-Берендей 13
Охота за счастьем
Рассказ из своей жизни 29

Собаки
Флейта 57
Ярик 58
Нерль 64
Кэт 71
Любовь Ярика 80
Анчар 88
Смертный пробег 96

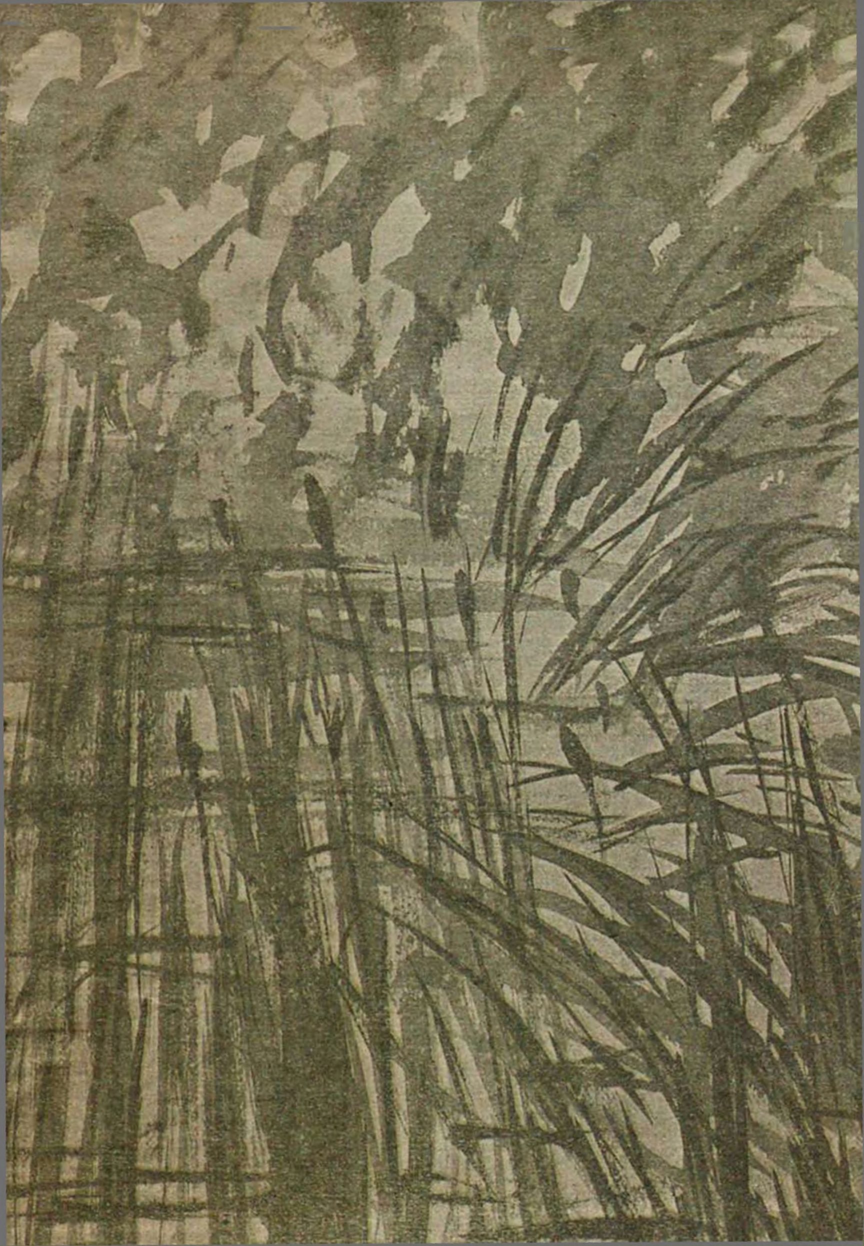
Черный араб
Соленое озеро 107
Длинное ухо 112
Пегатый 122
Степной оборотень 128
Волки и овцы 133
Сопка Маира 138
Черный араб 144

Славны бубны
Славны бубны 159
У деда под бородой 167
Любовь Османа 173
Алмазная гора 178
Белый дед 185
Трагикомедия 189

На охоте
Ленин на охоте 203
Гон 210
Сердце зимы 218
Солнцеворот 227
Милостью леса 234
Архары 242
Орел 254
Болота 258

Старые рассказы
Волки-отцы 267
Крутоярский зверь 273
Птичье кладбище 299
Бабья лужа 325







МОСКОВСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
ПИСАТЕЛЕЙ

Москва,
Ветошный ряд, 11
цена 6 рублей
переплет 1 рубль